

Андрей  
Битов

Обоснованная  
ревность повести

АБ



**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
СПЕНЫ ШУВИНОЙ

Предметы культа

Андрей БИТОВ

**Обоснованная ревность**

«Издательство АСТ»

1962, 1963, 1967, 1969, 1972, 1978, 1983, 1987, 2018

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Битов А. Г.**

Обоснованная ревность / А. Г. Битов — «Издательство АСТ»,  
1962, 1963, 1967, 1969, 1972, 1978, 1983, 1987, 2018 — (Предметы  
культы)

ISBN 978-5-17-148286-2

Проза Андрея Битова 60–80-х годов стала классикой русской литературы XX века, но сейчас ощущается как естественный ответ дню сегодняшнему. Сборник повестей “Обоснованная ревность»” – аналог прижизненного издания, которое Андрей Георгиевич Битов (1937–2018) составлял с особой тщательностью. Книгу дополняет автобиографический “Постскриптум”, написанный им в конце жизни. “Я не человек стаи. Я вообще думаю, что человек не совсем стайное животное. Вот когда он из нее выходит, то получается маргинал. Художник или преступник. Мне повезло выбрать первое, но ведь могло случиться и второе. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет, нет! она коснется меня” (Андрей Битов).

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148286-2

© Битов А. Г., 1962, 1963, 1967, 1969,  
1972, 1978, 1983, 1987, 2018  
© Издательство АСТ, 1962, 1963, 1967,  
1969, 1972, 1978, 1983, 1987, 2018

## Содержание

От автора	6
Бездельник	7
Сад	20
Жизнь в ветреную погоду	53
Конец ознакомительного фрагмента.	69

# Андрей Битов

## Обоснованная ревность

© Битов А. Г., наследники

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

## От автора

В 1964 году на страницах не то “ЛГ”, не то “Воплей” разгорелась дискуссия не то о судьбах рассказа, не то о судьбах романа. Приглашенный участвовать автор посмел утверждать, что воскрешенная усилиями Ю. Казакова и других наших лучших прозаиков традиция рассказа Чехова и Бунина уступила стремлению поколения написать роман, но поскольку трудно за него усесться в наше “торопливое, поворотливое время”, рассказ стал удлиняться то ли до слишком длинного рассказа, то ли до недлинной повести, то ли до фрагментов, намекающих на будущий роман. Короче, то, что по-английски определяется как “лонг-шорт сториз”. Иные критики тут же накинулись на меня за попытку подорвать основы “великой традиции русского рассказа”.

Я был неправ, конечно. “Зачем, – как замечал Паскаль, – говорить: благородное, прекрасное, стремительное, бескорыстное... не проще ли сразу употребить слово «лошадь»?”

Не проще ли сразу употребить слово “повесть”?

Цветаева писала Пастернаку про “Воздушные пути”: “Только зачем Вы назвали свою прекрасную прозу рассказами? Пусть Чириков пишет рассказы! Куда лучше русское слово «повесть»”.

Действительно, вот, где мы и пионеры и чемпионы жанра. “Повести Белкина”, “Петербургские повести”, “Записки охотника”, “Хаджи-Мурат”, “Дуэль”, “Поединок”, “Сентиментальные повести”, наконец...

Я увлекся этим представлением в 1962 году. Чем больше я ему отдавался, тем хуже меня печатали... Рукопись, полученная от машинистки (30 строк × 60 знаков в строке) становилась первой публикацией. Чем удачней бывал текст, тем чаще в нем оказывалось либо 49, либо 82 страницы. Мои страницы были плотнее, и я с нетерпением ждал результата: не перечитывая, заглядывал в конец рукописи, чтобы убедиться в последней цифре.

В запутанном определении жанра для меня основным параметром стал объем.

Составляя это “Избранное”, ограниченное издателем как 25 авт. листов (600–625 стр. на пишущей машинке по прежним редакционным нормам), т. е. не более 10 % из всего написанного, я не мог найти принципа дискриминации, кроме как по объему, т. е. 49 или 82...

В среднем – 60. Пришлось повыдергивать их из разных, уже окончательно сложившихся книг.

1962–1985... Повести!

*Андрей Битов*

*9 октября 1997. СПб*

## Бездельник

Руководитель сказал мне:

– Нет, Витя, так не пойдет. Так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, а на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится – будет что? Будет фук? (Это он так шутит.) Так вот, слушайте меня внимательно...

Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений. Солидного человека – тоже. Точно, какой я на самом деле, сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстая оладья – не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: “Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким?” При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. Тогда, как водится, я заметил это за всеми. Не обращал, не обращал – и вот заметил. За всеми и всюду. И не только, что разные люди видят меня по-разному – и каждый в отдельности, даже лучший друг твой. И есть у меня один момент, так его я просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не замечают сразу. И каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их заметит. У каждого на это уходит разное время. Некоторые не замечают их очень долго. И это страшно. Представьте себе какое-нибудь сборище, в котором вы хотите произвести то или иное благоприятное впечатление, – и вдруг ваш приятель, разговаривая с вами, может, о чем-либо очень серьезном, замирает на полуслове, смотрит на вас удивительными глазами, лицо его делается неузнаваемым, и он начинает хохотать. И только в редкие промежутки, когда он, красный, пытается вдохнуть или выдохнуть, вы слышите свистящее: “Уш-ши... Посмотрите, какие у него уш-ш-ши!” И тогда все замирают, у всех удивительные лица, и все шипят: “Уш-ши! Уш-ш-ши!” А один даже сказал: “Что, у тебя и второе такое же?” – и заглянул сбоку. Так что ничего мы не видим сразу и всё видим по-разному. Не говоря о том, что люди – это разные люди. Ну а уж о том, какие разные черты характера вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно, волевое и нежное, лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сгоревшее – одни глаза – лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное лицо, со следами разврата, лицо человека, способного на любую подлость. Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные: глаза – карие, волос – русский, губы – толстые. Хотя кто знает: может, и это неточно.

– Теперь вы все поняли? – говорит руководитель. – Это все и переделайте, как я сказал. А то черт знает что, Витя. Теперь-то вы все поняли?

Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек?

...Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу, все движения мои замедленны и неумолимы, подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. Ну что, понял?..

Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю.

...Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. “А это ты видел?” – говорю я и подношу гранату к его сизому носу. “Вот разожму кулак, – говорю я, – и не будет ни тебя, ни этой проклятой конторы...”

Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю.

... Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. Я не такой, говорю я, он от меня этого не добьется, я человеком останусь, а если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе, выкуси!

– Вижу, вижу, – говорит руководитель особым, поощрительно-ласковым голосом, – по глазам вижу, что поняли.

Что он понял? Что он понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя... Чему?? Я буду не спать четыре ночи, и я придумаю новую машину, и она сама собой устранил все те нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие – даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института. Совершенно новая отрасль в науке! И вот я через пять лет академик, минуя члена-корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок... Тьфу! И из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи? И жить не буду? Не буду знать простых человеческих радостей? Э-э-э, нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее? Не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей!

Думаете, как приступить?

Как он бесшумно подкрался! Только у мерзавцев может быть такая неслыханная походка. Так бы и... Что ты врываешься в мой мир?! Оставь меня хоть на минуту в покое! Все – надо, надо... А можно? Если “можно”?

– Да, думаю вот.

– А вы не думайте. Вы приступите, а потом думайте.

– Да? – говорю я дурацким голосом. – Вы думаете, так лучше?

– Испытанный способ, – говорит он.

– Значит, испытанным способом? – говорю я.

– Да, да! – говорит он почему-то сердито и уходит.

Ну и черт с тобой! Я уже через месяц видеть тебя не могу, а что будет дальше? Кончится испытательный срок, не справлюсь – ну и слава богу. Хоть видеть тебя не буду. А когда меня уволят, я превращусь в невидимку. Невидимый, я пройду через ваше бюро пропусков без всякого пропуска. Наконец-то никто не будет меня сличать с документом – я ли это? Я буду на этот раз точно я, и я пройду сам, свободно. Я пройду, вскрою все сейфы, сожгу все личные дела, всё сугубо секретное перенесу в бухгалтерию, а бухгалтерские книги положу в секретные сейфы, вызову по телефону руководителя к директору, а директора – в управление, тогда я включу радиоузел и буду пускать самые веселые пластинки и объявлю всеобщие танцы...

Вот опять чуть не пропустил свою очередь на хорошую работу. Перетаскивать шкафы с третьего этажа на первый. В прошлый раз задумался и пропустил, а пропустил – и все (у нас на такие дела очередь за неделю). И пришлось мне тогда целый час на инструктаже корчиться. У меня судороги, если руководитель говорит больше минуты. А тут еще выбрал он меня, чтобы смотреть на слушателей. Такая у меня подлая манера внимательно слушать, вид такой. А если, что чаще всего, я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня кивать и поддакивать и смотреть тем более проникновенными глазами. Любой оратор сразу нащупает меня в аудитории. А потом попробуй отключись, когда он все время на тебя смотрит, а ты уже полчаса киваешь, и вся фигура твоя уже одно сплошное понимание. И вопросов ждут именно от меня. Очень это все подло.

Слава богу, шкафов я не пропустил. Подумать только, велика радость – таскать шкафы... А ведь радость. Что-то в этом есть человеческое. Мы таскаем шкафы, это очень тяжело и весело, и есть шанс какой-нибудь из шкафов сломать. “ЧУШЬ – Чрезвычайное Указание Шефа – ЧУШЬ”, – шутят как один наши смелые кандидаты, попадаясь в коридоре. Тоже ведь страшно: что-то появляется человеческое, только когда ЧУШЬ, а в идеале, значит, и этого быть не должно? А ведь действительно ЧУШЬ. Для чего, спрашивается, мы вынимаем из шкафов три года пылящиеся пухлые папки, складываем (аккуратно, не перепутать!) их в коридоре, корежимся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти значительные в пустоте своей шкафы какой-то пухлой и пыльной дрянью? Папки эти еще ничего, а что меня совершенно поражает, кажется мистикой и просто не уместается в моем мозгу, так это скоросшиватели. СКО-РО-СШИ-ВА-ТЕЛЬ... слово-то какое! Как до такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо! Колесо, кремень – понимаю – это гениально. Но скоросшиватель – это какой-то ужас, извращение мозга! Еще есть дырокол. Тоже адское изобретение. ДЫ-РО-КОЛ, КРО-КО-ДИЛ... Даже для того, чтобы вытаскивать кнопки, существует специальная вилочка! Вот недавно наш сотрудник внес предложение: сделать в людном месте, на скрещении конторских путей, ящик с ячейками по отделам, чтобы каждый мог класть какую-то свою дрянную бумажку в свою поганую ячейку, и чего-то там кому-то не надо будет сортировать. А что там сортировать?.. Еще и сортировать!.. Ящик повесили, сотрудник получил благодарность, 25 рублей премии, поощрен, можно сказать, и доволен и еще над каким-то атомным ящиком думает. Хочет централизовать все ящики. А дальше – больше. А мне все какую-нибудь гадость в этот ящик подсунуть хочется или все перепутать, переложить из одного в третий. Хотя, конечно, предложи мне руководитель отвлечься и проделать дыроколом дырки в его дурацких бумажках – я это с великим удовольствием. Маразм, конечно, но все-таки какие-то беленькие кружочки из него вываливаются... Или вот недавно какой-то тип на работу американский скрепкосшиватель принес. Стыдно, конечно, но развлечения нам было на целую неделю: все, что можно, сшили. Надавишь – сшито, надавишь – сшито. Атомный дырокол! И конечно, современная форма, никель блестит и всякие американские надписи. Так мы даже из дому через это дьявольское бюро пропусков бумаги какие-то проносили, чтобы сшить. Зачем? Для чего? Потом и это кончилось, руководитель загорелся и машинку выпросил, а владелец из подхалимства отдал. Теперь запрется у себя в кабинете и играет. Тоже ведь невесело человеку... Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить.

Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки – зам. И так далее и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справиться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница... И все-таки что-то есть хорошее во всей этой гадости, и хорошее заключается в том, что уж больно точно эта гадость выражена, никаких сомнений. Начните перетаскивать шкафы, и вы почувствуете радость. А почему?

Шкафы помогли. Не было даже самых страшных мучений, когда остаются последние четверть часа до конца работы. Эти четверть часа – наверно, то же, что медленное поджаривание. А тут этого не было: просто прозвенел звонок.

Так уж подло устроен человек! Только после гадости может ощутить радость. Ведь были же у меня счастливые времена, так ведь и ничего особенного я тогда не ощущал, не ценил, не понимал. Были, например, летние каникулы в школе. Я все чаще вспоминаю о детстве, и так

грустно становится. И не то что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий, не в невинности тут дело. Живой был, до самой последней клеточки! А сейчас я если и живу, то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким. Так, что ли? Может, все-таки в невинности-то и дело?..

И вот дана мне радость: уходить с работы. Это трогательно, как все начинают собираться, чтобы быть совсем готовыми, когда прозвонит звонок. Как все складывают и прячут свой конторский инвентарь, и девушки начинают краситься, а некоторые из них, которые пойдут сегодня куда-нибудь, даже накручивают бигуди, а потом надевают платок, и голова у них под платком словно бы угловатая. А как это удивительно, когда предпраздничный день и все, все девушки в автобусе с такими вот угловатыми головами, и даже кондуктор! И тогда я люблю их всех сразу. А они едут на службу. И столько уже в них готовности к празднику, что как же не понять, что едут они куда-то не туда и будут делать ненужное дело. А для чего? Это знает и ребенок. Чтобы “кушать”. Это я знаю со школы: “Рабочие трудятся с шести утра, колхозники дают тебе кушать, а ты опять не сделал урока...”

И вот все уже готовы, и одеты, и застегнуты на все пуговицы. И что-то замирает уже внутри – и вот звонок. И я бегу по лестнице, и пролетаю вахтера, скорей, и сердце у меня бьется, скорей, и хватаюсь за ручку тяжелой двери, и протискиваюсь, и рвусь, рвусь, словно там и Новый год, и летние каникулы, и словно я снова ребенок, и словно там все праздники сразу. Вырвался. Какая бы ни была погода – она всегда прекрасна, и первый вдох – радость. Я новорожденный, сильный, и словно не было рабочего дня, а ты только проснулся, почему-то плохо проспав ночь, но проснулся почему-то свежим и не усталым, и вот начался день. А тут еще небо синее, и солнце, и грязный снег прикрыт свежим и таким легким и белым, что неощутима его поверхность. Красный трамвай с белой крышей, повизгивая, огибает нашу службу. А мне идти через сквер, где много больше снега, и белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети, и это красное, синее, зеленое – все облеплено снегом и живет. И тихо сидят старухи на скамейках, и вообще тихо, хотя рядом и повизгивает трамвай, огибая нашу службу, но все равно тихо, потому что тишина – это вовсе не отсутствие звуков. А впереди, в этом же сквере, стоит заброшенная церковь, и купол у нее такой голубой, что растворяется в небе.

А вот и черный канал. Перехожу и попадаю на магистральную улицу. Тут много людей, и еще некоторое время, пока мной не овладеет суета, я могу идти и смотреть в лица. Многие люди проходят мимо меня, и я что-то понимаю про некоторых, они перестают быть незнакомыми – и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно – прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так. Особенно если девушки. Тут острее чувствуешь утрату: целый мир – взгляд – и мимо, мимо. Это так очевидно, почему их взгляд, и одежда, и походка почему, и так близко – протянуть руку, и так сложно, трудно прикоснуться. И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один-человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся, ни ты, ни она, не стучим в стенку, и не пишем пальцем, и не делаем знаков – проходим мимо, и столько в этом горького опыта невозможности. Один-человек плюс один-человек – равно два один-человека. Особенно если женщины... Особенно если друзья... Особенно если дети... Особенно если старики... Сегодня у старика день рождения. Надо купить ему что-нибудь вкусненькое. Захожу в магазин, беру зефир в шоколаде. Полкило. Иду обратно. Вижу, девушка хорошенькая-прехорошенькая...

...“Вот вам”, – говорю я и подаю ей зефирину. Она улыбается и берет. Так хорошо улыбнулась – что спасибо и ничего больше не надо. Иду это я и дарю всем женщинам по штуке. Пока шел, полкило и раздарил. Еще и не хватило. И все мне улыбались единственными, бесконтрольными улыбками. И я счастлив, мне больше ничего не надо... То есть мне надо. Но

неудобно же подарить зефирину, а потом пристать. Как раз хорошо – пройти мимо. Красиво. Улыбка-то – твоя. А пристанешь – как? За зефирину, что ли? Неудобно.

Но я иду и все думаю, как я дарю, а сам не дарю. Раздарю – что старику останется? И сам не ем. Раздарить, конечно, ведь приятнее, чем съесть. Я бы и раздарил, да вдруг, думаю, она, эта хорошенькая, которая так замечательно может мне улыбнуться, своротит мордочку, кривую такую, брезгливую, и обойдет меня, а я стой с зефириной в руке и нелепой улыбкой... Ду-ура! Я ведь не стал бы приставать. Дура!.. Но и то верно: даст вот такой зефирину, а потом так пристанет, так пристанет, будто это и не зефирина, а собор Парижской Богоматери. Есть у них, у хорошеньких, такой опыт. Вот и не подаришь... Мужики-то, дурни, все мне удовольствие уже когда как давно испортили...

И все-таки есть выход! Это оказалось так просто. Я шел, шел – и вдруг полетел. Сразу выше домов. Смотрю на все сверху, и полы пальто развеваются. Просто шла мне навстречу красивая женщина. Шла и прошла мимо. Даже не заметила. И вот я лечу. Полы пальто развеваются, и ветер волосы треплет. Вижу эту женщину и пикирую. У самой почти земли полы так развожу и планирую. И встаю прямо перед женщиной. “Откуда вы?” – говорит она удивленно. “Оттуда, – говорю я и показываю вверх. – Хотите, полетим вместе?” – “Хочу”, – говорит она. И мы летим, взявшись за руки. Ветер, простор, свобода!

А я иду по улице, женщина давно уже и далеко прошла мимо, иду и думаю, что там, наверху, и замерзнешь, пожалуй...

Вечером мы идем к старику. Маминому отцу. Родители долго глядятся, чистятся, тщательно и суетливо. Мама сердится на папу за то, что он, оказывается, давно уже съел банку варенья, которую мама припасла старику. Папа сердится на маму за то, что он, съев варенье, постарался забыть об этом, а мама вытянула все на свет, и теперь папе неловко. Я уже давно готов, и слоняюсь без дела, и натываюсь на суетящихся родителей. Они немножко кричат на меня и таким способом мирятся друг с другом. И меня внезапно пронизывает мысль, что они тоже старики. Я смотрю на них, как они волнуются и суетятся, и хотят не опоздать, и наверняка соберутся за час до выхода, – и мне вдруг хочется плакать. Господи, чего бы я, кажется, не сделал, чтобы они были счастливы и довольны. И не умирали, не умирали, не умирали! И ведь как мало им надо... А я все слоняюсь и слоняюсь и не даю им покоя. Да я бы для вас сто институтов кончил бы! И сто раз стал бы инженером. Я бы дал вам сейчас слово, честное слово, что вам наконец не придется больше волноваться за сына, но ведь я уже столько их дал... “Витюша, мы ведь не настаиваем, нам ведь это не нужно, мы ведь просто хотим, чтобы ты был счастлив...” Они, мои старики, уверены, что знают, как мне быть счастливым. Простите меня... Все мы хотим счастья друг другу и забываем о своем. И снова мне видится прозрачный камень, в котором прорезаны каналы для один-человеков.

И мы идем всей семьей в гости к старику. Это, в общем, близко. Дом старика прямо напротив. Из ворот в ворота, только через улицу перейти. А тут как раз перехода нет. До перехода метров пятьдесят идти и потом пятьдесят. Тоже, в общем, недалеко. Но мы всегда переходим прямо, из ворот в ворота. Обидно же делать крюк. Никакой надобности в этом крюке. Но посреди улицы милиционер часто ходит, по полоске. Штраф платить – тоже не хочется. Милиционера нет – переходим. Вот переходим мы на этот раз и совсем уже в ворота вошли, слышу – свисток. Вернее, что и не нам. А если это нам и милиционер заметил, в какие ворота мы вошли?

...Вот мы идем по двору, длинный такой двор, а он уже в ворота проходит. Видит наши спины. Идет широким шагом, чтобы нагнать. Мне очень хочется обернуться, но я не оборачиваюсь.

А мы уже подходим к парадной старика. Тут-то он нас и нагоняет: “Гражданин!.. Раз, два, три... – пересчитывает он нас, загибая пальцы. – Три рубля, будьте любезны”. Тут я оборачиваюсь, смотрю на милиционера таким тяжелым взглядом... “Уходите, уходите...” – говорю я.

Он обмякает весь. “Сейчас, сейчас”, – говорит он и уходит понурый. Словно лунатик идет. Все поражены. “Витюша! Как это ты!” – восклицают все. “Что вы... Вы о чем?” – делаю я недоуменное лицо. “Ничего не было”, – говорю я. И все тотчас соглашаются. Я шучу непринужденно, и все смеются моей шутке. И я один знаю, кто я на самом деле...

Потом мы все вскрикиваем, всплескиваем и целуем старика. Он так торжествен, так хлопотлив, так старательно приготовлен стол, что мне опять хочется плакать. Черт знает что со мной творится! Я не помню, чтобы я плакал хоть раз, хоть когда-либо. Я бессмысленно протягиваю ему свой зефир, он обнимает меня своими легкими руками и не то смеется, не то всхлипывает у меня на лацкане. “Отличник, конструктор”, – гордо говорит он мне, неслышно, почти робко похлопывая по плечу, И отец кивает ему. И кивает мама. Мы проходим к столу, и старик, подхихикивая, с таинственным лицом и движениями фокусника извлекает неведомо откуда бутылку настойки. Ее он всегда готовит сам, и это его гордость. Самому ему нельзя, он только вспоминает, как бывало. Папе тоже нельзя. И конечно, маме. Настойка предназначается мне. Старик все подкладывает мне и восторженно смотрит, как я ем. А я опять не могу, опять не могу видеть легкие, как засушенные лепестки, дрожащие руки... Так что мне даже совестно моей непонятной чувствительности. И мне кажется, руки его живут особой жизнью, и, как бы ни старался старик быть бодрым, веселым, трясти стариной, руки выдают его... Они живут осторожно, тихо, тщательно, в этом есть даже какая-то необъяснимая красота и ловкость, ловкость, с какой он справляется с дрожью и немощью своих рук. И я понимаю, что безумно люблю эти руки. Старик недаром гордится своей настойкой. Это действительно огонь. И он очень быстро перебирается в голову. “Только не пей слишком много”, – говорит мне отец. И я вижу руки отца и руки матери – эти руки сведут меня с ума! И я понимаю, что мои намерения остаться трезвым пропали и я выпью всю эту настойку. Мама кидает на меня укоризненные взгляды, а я уже полупьяно приподнимаю ладонь: все будет в порядке, не беспокойся. А старик с отцом, у них уже сорок лет, наверно, не исчезает из разговора та немножко официальность, которая возникла, когда старик был против замужества моей мамы. Это все притерлось и прошло, они привязаны, но им, наверно, даже дорога эта манера. Они беседуют о космосе и о гигантской радиомачте, которую строят в нашем городе и высота которой будет пятьсот метров. Старик восторжен и рассказывает научно-популярные статьи, до которых он великий охотник. Они все помешались на прогрессе, даже мои милые старики. Кроме мамы. Маме это все равно, где-то она мудрее, а они – дети. Это оставшееся их мужчинство. А я уже совсем пьян. А старик так рад и так счастлив. Что мы пришли. Он нас любит. Мы единственные у него. Мы его любим. Он один у нас. И это все другие слова, которые есть суть и которых он так и не говорит. А говорит он, что вот, например, нейтронная бомба – так не то что атомная, а водородная против нее что порох. С ужасом вроде говорит. Но мне вдруг кажется, что ужас-то его притворный, а на самом деле он даже восхищается. Что вот бомба такая упадет – и все живое погибнет, а даже стекла в домах целы останутся. И никакой зараженности – входи, пользуйся. “Так ведь в этом весь ужас, – говорю я, – лучше бы ничего не осталось”. А старик – глаза круглые – кивает и не понимает. “Не понимаешь ты ничего”, – говорю я. “А я три войны прошел”, – говорит он. “Не понимаешь ты ничего”, – говорю я. “А я три войны прошел”, – говорит он. “Вот и не понимаешь”, – говорю я. “Это еще что, – говорит отец, – тут еще, – говорит отец, – но это совершенно секретно, – говорит отец, – за сотым еще элементы нашли...” Так они, эти элементы, по словам отца, такую поразительную способность взрываться обнаружили, что вот с грецкий орех бомба – и материка нет. Привез какой-нибудь журналист в кармане, где-нибудь обронил – и порядок. И ракеты не нужны... “Не нужны?” – говорю я. “Не нужны”, – говорит отец. “А так – они нужны?” – говорю я. “Щенок, – говорит отец, – я всю войну прошел”. – “Вот и не понимаешь”, – говорю я. “Щенок!” – говорит отец. “Это еще что, – говорит старик, – вот если из антимира бы да антивещество бы – то на всю планету бы одной булавочной головки хватило бы”. – “А вот мне рассказывали, – говорю я, – это, конечно, в Америке было... в одном

таким секретном месте пять подводных лодок стояло, бок о бок. И на одной из лодок матроса наверх послали, снег счищать. Так он отказался наотрез. Тогда другого послали. Вот того – другого – брат мне и рассказывал. Вот он счищает, а под ним, в лодке, пожар начался, и никак его не остановить. И командира нет – он на берегу. А этот наверху ничего еще не знает (снег счищает), только чувствует: что-то у него под ногами греется, – но не придает значения. И вдруг ка-ак ахнет! Взорвалась лодка. И с ней все остальные, а того, который счищал, как подкинуло и отбросило на сколько-то там километров – и прямо в сугроб. А капитан в это время шел по берегу и как раз поравнялся с фонарем. Его лбом об столб и садануло – так он сразу и упал, мертвый. И никого в живых не осталось. Только тот в сугробе единственный и остался...” – “Это ты к чему?” – удивился отец. “А так, – сказал я, – и еще, – сказал я, – когда все это дело взорвалось, то там еще торпеды разбежались. Так за ними еще бог знает сколько времени охотились, чтобы выловить...”

“Не умеешь ты пить”, – сказал отец.

От настойки я плохо сплю, за мной гонятся, я бегу и почему-то еле переставляю ноги, кричу и только открываю рот, потом я гонюсь за кем-то, и какая-то непонятная война, нашествие монголов, они едут по городу на мотоциклах с пиками наперевес – джигиты! – и врываются к нам в квартиру, и во главе их руководитель, который кричит, что я ошибся в расчете пики и она никуда не годится, он бросает пику мне в грудь, и я ничего не чувствую, только она разламывается пополам, а потом мне становится вдруг прохладно, меня гладят сразу много рук, и я узнаю руки моих стариков... Под самое утро меня настигает крепкий сон, я еле встаю, и то благодаря маме, я завтракаю через не могу, чтобы не обидеть маму. И надо уже бежать, я опаздываю, но мне не хочется ни бежать, ни спешить. А мама уже волнуется, все ли у меня в порядке на работе, ты, Витюша, не сердись, но мне показалось... ты понимаешь, нам с отцом хочется, чтобы у тебя наконец было все в порядке... Ну, не буду, не буду... А мне становится совсем черно, потому что мама всегда так безукоризненно чувствует, когда у меня что-либо не в порядке. И оттого, что она, как всегда, права, мне особенно хочется сердиться, и возражать, и доказывать, что они ничего не понимают и я – сам. Раньше меня поражало, как старики чувствуют все, что еще и не произошло со мной, и если я им не даю никакого повода и все скрыто. И я восставал против логики этого предчувствия. Теперь-то я понимаю, что это – любовь, но мне от этого не легче, а во сто крат тяжелее. И вся-то взрослость моя в том, что стал чувствовать ответственность, а справиться с ней я по-прежнему не могу. Может быть, меня ждет сын, чтобы я справился наконец.

Я сержусь, говорю, что все в порядке, и ухожу на работу. Уже неправдоподобно, чтобы я не опоздал. Мне надо бежать во весь дух и поспевать, поспевать. А я еле переставляю ноги. У нас образцовая контора, и никто не опаздывает. Страшно смотреть, как в последнюю минуту врываются в проходную старики, бегом, тяжело дыша и с безумными лицами. Жуткий способ придумало начальство для борьбы с опозданиями. Не взыскания, нет. Это было бы по-человечески, как бы ни было жестоко. Раз в месяц, причем день неизвестен, все начальство выстраивается в проходной. И директор, и партком, и начальники отделов. Они приходят и выстраиваются шеренгами с двух сторон за минуту до звонка. Они стоят с неподвижными скорбными лицами, как почетный караул. И мимо них, потупляясь, уничтожаясь, так что буквально видишь, как человек уменьшается в десятки раз, проскакивает, а на самом деле долго, мучительно долго плетется опоздавший. И действительно, у нас не опаздывают.

Как я ни плелся, автобус подошел сразу же, и я почему-то рассердился на автобус, потому что, попав в него, снова начал поспевать на работу. Освободилось место, я сел и начал смотреть в окно. И тогда мне снова стало хорошо, тепло и сонно, и мне показалось, что это тот самый автобус, из которого я не вылезая всю свою жизнь. Еще не рассвело, хотя и начало сереть.

Я смотрю в окно автобуса и вижу освещенные окна домов. Там тоже спешат на работу. И вдруг вижу: в одном окне, этаже на третьем, – женщина. Окно хорошо освещено, и женщина

близко к окну стоит, что-то делает. А рядом, как-то косо, шкаф стоит. Очень хорошо видно. И вот мне показалось, что женщина вдруг как-то отклонилась и что вроде какая-то тень из-за шкафа. Но автобус-то едет – и уже нет окна. Я увез с собой эту картину и рассматриваю ее тщательно. Иначе ведь и не рассмотришь – мелькнуло, и все.

...И вот определенно вижу, что женщина не отклонилась, а покачнулась, и не покачнулась, а отшатнулась, и рукой прикрылась, чтобы не видеть или от удара. А тень из-за шкафа – мужик в черном плаще и серой шляпе, и в руке у него нож. Он заносит этот нож: оттого и покачнулась женщина. Только бы доехать до остановки!.. Я выскакиваю, ловлю первого милиционера. “Там, там...” – говорю я. “Что там?” – говорит милиционер. “Убийство!” – “Где?” – “Там. Я только показать могу”. Милиционер смотрит недоверчиво. “Я из автобуса видел”. И мы идем. Не этот дом, и не этот. Вот он! А вот и окно. “Ага, это окно”, – говорит милиционер. Мы троим, милиционер, дворник и я, смотрим на это окно. “Это?” – “Это”. – “Вот это?” – “Нет, вон то”. – “Ага, вот это, – говорит дворник. – Это квартира 46”. – “Пойдемте”, – говорит милиционер. Вот и третий этаж. Вот и дверь. Звонок. Еще звонок. “Ясно”, – говорит милиционер. Взламываем. Первая комната. Вторая комната. Третья... Лежит. В луже крови. Женщина. Я ухожу. Я один знаю, кто я на самом деле...

...Взламываем. Первая комната. Вторая комната. Третья. Последняя. Никого. “Э-эх! – говорит милиционер. – Зря сломали. Сы-щик...”

...И мы идем. Не этот дом, и не этот. А вдруг я не найду дома? Не узнаю. Или в окне свет погасили? Что тогда? Неловко-то до чего! “Э-эх! – говорит милиционер. – Постыдились бы, занятых людей...”

...А может, мне действительно показалось? А если нет? Ведь даже если одна миллионная шанса – и тогда надо бить тревогу. А вдруг НЕ показалось? И действительно. Лежит. В луже крови. Женщина. На третьем этаже. Около шкафа, стоящего косо?

...А если бы я действительно всю картину ясно увидел? И мужчину, и нож? И мы идем. Не этот дом, и не этот. Не узнаю. Не нахожу. Может, свет погасили? “Э-эх! – говорит милиционер. – И не стыдно вам?”

...А может, я бы увидел и не поверил: как это? В освещенном окне? Быть не может. Показалось. И так спокойно ехал бы дальше. И забыл. А на следующий день там бы нашли. Лежит.

За окном значительно рассвело. Я смотрю и вижу, что давно уже проехал свою остановку. И теперь уж я совсем опоздал. Так опоздал, что лучше вообще на работу не идти. И вдруг мне становится легко-легко. Это так просто: не пойти, отказаться, не поехать. И почему-то это очень сложно, пока не сделаешь. И я снова чувствую себя маленьким... Я спрятал свой большой портфель в подвале. И езжу в трамвае до конца и обратно. Потом поспеваю на одиннадцатичасовой сеанс. Потом гуляю куда-то за Острова, смотрю. И возвращаюсь домой после шестого урока...

Я выхожу на далеком кольце. Тут чистый снег и серое мягкое небо. Тут стоит одинокий, последний дом. И есть пустырь. А в нем непонятная одинокая труба. И горизонт сливается с небом мягко и неощутимо, и не понять где: то ли достать рукой, то ли в бесконечности. Я иду по узкой, вытоптанной в снегу тропинке, все ровно и бело вокруг, сзади совсем уменьшился последний дом, а впереди все вырастает и вырастает труба, она – огромна, и никак до нее не дойти. И мне кажется, вот так буду идти и идти без конца в ощущении покоя и счастья. Но скоро мне надоедает труба, и я возвращаюсь назад, так и не дойдя до нее, – обратно в гущу домов, в город.

Я захожу в кинотеатр за час до сеанса... Как знакомы мне все эти люди, которые пришли в кино на первый сеанс и за час до сеанса! И этот бледный длинный подросток, который все время куда-то запихивает свой портфель, и колченогий небритый человек с измятым лицом, и две старушки, так важно беседующие, и эта тихая пара словно из заговора, и билетерша (к

концу дня у нее будет другое лицо), и уборщица, и эти опилки, которые она медленно и лениво сметает, и буфетчица, расставляющая свою витрину, ее газированная вода, ее мороженое и вафли!

Как знакомо и как забыто все это... Пройти в туалет, там уже есть кто-то один и курит, подойти к нему попросить прикурить, хотя у тебя в кармане есть спички. И этот миг, пока ты затягиваешься и еще не отошел от него, бормочешь спасибо и вы еще смотрите друг на друга... И одна девушка, не то школьница, не то взрослая, которая ходит как-то особенно одиноко и независимо, и вы встречаетесь взглядами, и ты столько раз соберешься подойти и заговорить с ней и так и не подойдешь, не заговоришь. И только останется в тебе ощущение тайны и потери. И этот фильм, совершенно неважно о чем...

И вот я выхожу на улицу, щурясь от яркого света. Вышло солнце. И город уже совсем ожил. Много людей, все спешат, и у всех деловые лица. Все идут куда-то. И это означает, что всё, что кончился покой. Мною овладевает ощущение неприкаянности, отщепенства и суеты. Я очень томлюсь, что я не как все, и люди, спешащие мимо, каждый подчеркивает мне: ты не имеешь права, ты не имеешь права. Вдруг я понимаю, какой я был мудрый ребенок, что после кино шел куда-то на Острова, где по-прежнему мало людей, а те, кто есть, вырвались и живут, как я, краденой жизнью. Теперь я слишком много понимаю – не могу поступить мудро и не еду на Острова.

Я иду в поликлинику получать бюллетень. Я – уже не я. Мне надо оправдаться и всеми силами сохранить все как было. Мне надо исправить то, что мне сказал руководитель, мне надо справиться с испытательным сроком и наконец остаться на работе и не огорчать родителей. Мне стыдно и плохо оттого, что я не такой, как все, что я такой слабый и безвольный и так хочу и не могу заставить себя быть хорошим, быть как все, чтобы быть спокойным и быть правым.

Я поднимаюсь по больничной лестнице, мимо меня бесшумно, как во сне, проскальзывают сестры, совсем девочки, действительно – сестры... Их так изменили белый халат и белая шапочка. Они совсем не похожи. Тут тоже тишина и другой тихий мир. То ли это люди действительно больны и что-то понимают через это?... Я сижу в круглой комнате и меряю температуру. Рядом со мной женщина в красной кофте, с ребенком, который все лезет и лезет ей на колени, бесконечно повторяя одно и то же движение, и сползает, сползает и мешает женщине мерить температуру. Неотмытый парень, который кажется особенно тихим, потому что очень четко ощущение, что он вообще-то очень не такой, не тихий. Он держит пистолетом руку в грязном бинте и укачивает ее, как ребенка. Мальчишка, школьник, с наглым зеленоватым лицом, озираясь, время от времени нацеливает по градуснику. Он видит, что я наблюдаю за ним, но меня он не боится, и прячется он не от меня, и подмигивает мне, как союзнику. Проходит десять минут. Я подхожу к сестре и вручаю ей градусник. Температура у меня нормальная, сестра, пожилая, строгая, смотрит на меня укоризненно. И мне становится стыдно, и кажется: тут все больные люди, и это у них серьезно, а я один такой и только зря беспокою серьезных, занятых людей. И мне вдруг остро хочется заболеть, и чтоб за мной ухаживали и жалели, и я бы был оправдан перед всеми, потому что болеть-то я имею право и тогда нечего с меня требовать. Мне хочется лежать в чистой прохладной постели, чтобы меня спрашивали, как я себя чувствую, чтобы я смотрел в окно, где стучится одна голая ветка и живут воробьи, и вел медленные разговоры с соседями. Да и потом, меня надо, надо вылечить!

Тут почему-то слишком сильно дунул ветер и с треском распахнулось окно. В теплый и тихий больничный воздух ворвался ком ледяного воздуха и сухой снежной пыли, взорвался где-то посередине, все оживились, заговорили. Носились белые бесшумные сестры. Ветер еще раз хлопнул расстегнутой рамой, и она свалила большую кадку с пальмой и табуретку, на которой стояла эта кадка. Хлопотали сестры. Я, человек с нормальной температурой и мужчина, подошел к окну и с силой захлопнул его. В пазы забился снег, и окно не закрылось. Я отгребал снег рукой, чувствовал, как коченеют мои пальцы и тает под ними снег, и наконец справился.

Затем мы с сестрой подняли пальму и установили на табуретку. Я все еще чувствовал запах снега и мороза, и кожа лица еще сохраняла ощущение прохлады, и сладко ныли покрасневшие пальцы. Почему-то мне было удивительно приятно проделать все то, что я проделал, и я был рад тому, как благодарила меня сестра, и я вышел на лестницу и спустился в раздевалку.

Я прошел по больничному парку и вышел к Карповке. Вода была черной под мостом, а дальше белой, и в лед вмерзли отдельные бревна. На горбатом деревянном мосту был лед, и по нему беспомощно взбиралась лошадь. На широкой приземистой телеге с резиновыми толстыми колесами горой высились металлические сетки с бутылками, и бутылки звенели. У лошади была седая от мороза морда и огромными шарами вырывался пар. Красномордый и тем более толстый в своем тулупе возчик грозно понукал. Телега продвигалась еле-еле, у лошади во все стороны разъезжались ноги, и вот телега стала. Лошадь, упиравшись всеми четырьмя ногами, медленно заскользила назад. Возчик закричал свирепым голосом, лошадь дернулась изо всех сил вперед и медленно, нестерпимо медленно повалилась на бок. Она лежала на боку, отгибая голову, и тихо ржала. Она была так виновата, лошадь, и столько было вины и обиды на ее лице, что было ясно: она плачет. Что-то большое, спирающее подобралось к моему горлу: лучше бы это я лежал сейчас на льду и пытался встать, и мне было бы больно и обидно, и лучше бы я всю жизнь возил эту телегу... Она лежала на боку, и судорожно, рывками вздымался ее другой мохнатый бок, и от него шел пар. Возчик кричал и изо всех сил лупил ее по мокрому боку. Я ненавидел его, и тут же возникшая мысль, что, наверное, он ее тоже любит, он ее знает, кормит и заботится о ней, была мне противоестественна и противна. И тут какой-то молодой парень, весело скаля зубы, подбежал с другой стороны, чем возчик, и, что-то весело и бодро говоря лошади, стал помогать ей встать. Тогда подбежал и я и другие люди, и все мы, объединенные чем-то большим и радостным для нас, поставили лошадь на ноги и изо всех сил, скользя и падая и вовсе не замечая этого, тянули телегу вверх по мосту и кричали что-то громкое и веселое, и вот лошадь с середины горбатого мостика вдруг отделилась от наших усилий и пошла сама. Разошлись люди, ушел куда-то, скаля зубы, первый парень, и я остался снова один, и что-то большое, что я чувствовал только что, ускользало от меня.

Я шел и плохо думал о себе. Ведь вот не я догадался, что не стоять и жалеть, а просто помочь лошади надо. И так просто и хорошо справился со всем этот первый парень. А я, наверное, никогда не смогу так, как он... И я не любил его. Но благодарность чувствовал я ко всем людям, которые тоже вместе со мной поняли, что лошади можно помочь, которые забыли в этот момент обо всем. И так хорошо, что они способны забывать “обо всем”! И не может быть, думал я, чтобы у них сейчас было плохое настроение, чтоб они не посмотрели на заботы свои и суету свою легко после того, как помогли лошади, и, думал я, день сегодняшней они проживут хорошо. Может, это единственно истинное чувство свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-человечески... И, думал я, за сколь малое мы уже благодарны людям. А ведь мы счастливы, если встречаем человека, не растерявшего своего человеческого. И так хорошо, думал я, когда перед лицом чего-то значительного и серьезного вдруг очень многие извлекают из себя человека...

Потом я снова видел лошадь, как она лежала на боку, и вздымала свой другой, парной, бок, и отгибала свою седую морду, и беспомощно перебирала ногами. И я понял, что лошадь – это какой-то вовсе замечательный человек, на которого хочется молиться и плакать, и что нет зрелища грустнее лошади.

Хорошо. Это все хорошо. Бюллетеня нет. А что делать дальше?

И такая вдруг подступила тоска – жить не хочется. Что-то во мне устроено неправильно. Не имею я права ходить среди людей и выдавать себя за такого же, как они. Хоть бы меня изолировали, что ли. В тюрьму посадили?.. Ведите!

...Вот я сижу в тюрьме и наконец понимаю что-то главное. Должно же существовать это “что-то”... И оно как ключ ко всему, ко всему... И вот у меня этот ключ.

И возможно, тогда я бы утратил суету и обрел силу видеть и понимать окружающее. Я бы понял цель и смысл. Я бы извлек из себя все и создал все, на что способен. А может, я даже и не понял бы, а просто каким-то чудом, каким-либо ранним утром бы, проснулся в равновесии и простоте.

Но я не сижу в тюрьме. Ни стен, ни решеток. Иду по серому, измятому снегу. Дома, улицы. Захочу – поверну налево, захочу – направо, захочу – прямо.

Гуляю, словно бы на свободе... Что такое?

Я вижу пивную-автомат и захожу в нее. Раньше это была просто пивная, у нее были постоянные посетители, у нее был свой микрорайон и микромир, и все знали друг друга, тут был гвалт и дым и пили водку. Теперь тут стойки из серого противного мрамора и блестят никелем автоматы, и у нас не курят, и распивать водочные изделия воспрещается. Но люди не могли расстаться с этим местом, они по-прежнему ходят сюда, и они сохранили все по-прежнему: дух пивной не ушел отсюда. Тут курят, и тут пьют водку, тут живут своими конечными жизнями. Тут гвалт и все знакомы. И по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно. Красный автомат выплевывает мне милое “Волжское” вино и будет выплевывать столько раз, сколько я этого захочу. Я хочу этого, не помню сколько раз.

Я выхожу, покачиваясь, на улицу. Уже темно, а мне снова мирно и тихо на душе. Я могу ни о чем не помнить. Я попадаю в сквер между какими-то двумя домами. Тут нет фонарей, только кое-какой свет доносится из окон, и на снегу получаются синие тени. Мальш, выстроив снежный городок, копошится в нем и возит свой грузовик. Я плюхаюсь на скамейку рядом с ним. И ведь точно, думаю я, он живет в этом своем снежном городе. Не играет, а живет. Я очень понимаю его. Мне самому безумно хочется ползать сейчас на четвереньках по скрипучему сухому снегу и жить в этом городе. Мне даже не хочется снова стать маленьким ребенком, мне хочется стать еще меньше. Совсем крохотным человечком, для которого этот снежный город – действительно город, а дома – огромные дома. Маленький, никому не видимый, я хожу по этим заснеженным улицам и карабкаюсь на огромные пики сугробов... Я сползаю со скамейки и подползаю на четвереньках к ребенку. Тот косится на меня недоверчиво.

– Не бойся, мальчик, – говорю я, – я тоже из этого города...

Он тарашится и молчит.

– Мы будем жить в нем вместе, – говорю я, и нелепые пьяные слезы бегут у меня по щекам.

– Дяденька, ты пьяный, – говорит мальчик.

– Я не пьяный, – говорю я, – я не буду плакать. Мы будем жить в этом городе. Ты возьмешь меня в шоферы своего грузовика...

– За рулем нельзя быть пьяным, – серьезно говорит мальчик.

– Я не пьяный, я больше никогда не буду, – говорю я.

И вот я везу грузовик, наполненный снегом. Я ползу на четвереньках по узким улицам снежного города и толкаю впереди себя грузовик.

– Дяденька, ты разрушишь мой город... – говорит мальчик.

– Я не разрушу, – говорю я, – я самый маленький человек. По сравнению со мной ты – великан, а я такой маленький, что не могу разрушить нашего города.

Я привожу грузовик к большому снежному дому и разгружаю. Я ставлю грузовик в снежный гараж. Работа окончена, теперь я могу отдохнуть. Я долго иду по снежному городу и выбираю дом, в котором я буду жить. Я нахожу его наконец. Это прекрасный дом, его надо только немножко подправить. И сделать пристройку для нашей лошади. Я долго вожусь с домом, и вот он готов. Теперь можно позвать мальчика. Нам с ним будет очень просторно в этом доме.

– Мальчик, мальчик, – зову я. – Где ты?

Я возвращаюсь домой. Мне плохо. Меня качает. И я уже все понимаю. Только мне безумно плохо. Мне хочется выпить ведро жидкого киселя, раздеться и лечь на белом, только

что вымытом и выскобленном дощатом полу. И так лежать, и чувствовать его свежий деревянный запах, и отходить, отходить... откуда в моей памяти этот пол?

Больше я ничего не помню. Рано утром я открываю глаза и вижу себя раздетым и в своей постели. Рядом мама с заботливым, грустным лицом. Мне стыдно, безумно стыдно и хочется исчезнуть, раствориться в чем-то, чтобы осталась только чистая несмятая постель. Мне опять хочется быть невидимкой.

– Ты не огорчайся, Витя, – говорит мама. – Все будет хорошо. Мама твоя всегда будет рядом с тобой...

Это хуже, чем убить, – сказать такое. Я чувствую, что сейчас начну ползать по полу и извиваться, как червяк. Я ненавижу себя...

Я съедаю свой завтрак через не могу и одеваюсь на работу. И все время я больше всего боюсь встретиться с мамой взглядом. Я знаю, какой он, этот взгляд, когда из него уже исчезают укоризна и упрек. Я боюсь его, потому что чувствую тогда отчаяние. Одетый, потупляясь, я подхожу к маме, целую ее в лоб.

– Ты прости меня, мама, – говорю я и поспешно, почти воровато, выбегаю из дому.

Я еду в автобусе, и на этот раз мне не удастся стать ни летающим человеком, ни гипнолизером, ни сыщиком... Я только вспоминаю об этом. И странную вещь обнаруживаю я, вспоминая. Раньше когда-то, мне кажется, что безумно давно, я просто летал, просто был невидимкой, совершал подвиги и умирал от обиды. И даже не замечал, как делал это. А теперь, и, кажется, это началось очень давно, любая моя мечта, пустая и глупая, печально кончается в самой мечте. И нет в ней ни победы, ни торжества. Всегда в ней есть сомнение или разочарование и предполагаемый печальный исход. Это в мечте-то, в пустой и глупой... Это-то и есть опыт? Это-то, только возросшее до безобразия, и будет зрелость и мудрость? И я так же ловко постарею, незаметно отказываясь от того и от этого и приговаривая: как я был тогда наивен и глуп, как я ничего не знал и не понимал, – и при этом буду чувствовать успокоенность и удовлетворение. К черту, к черту...

И вот я снова на работе. И прежде всего я сталкиваюсь с руководителем.

– Ну как, Витя? – говорит он. – Что с вами случилось?

А я вдруг чувствую, что не в силах врать, и я молчу.

– Вы заболели?

– Нет, – говорю я.

– А что же? – удивляется руководитель.

– Я не смог, – говорю я и подлю думаю о том, что пока еще говорю правду, что я действительно не смог, и такую фразу я могу произнести, оставаясь честным.

Руководитель извлекает из себя свой такт и не спрашивает меня дальше. Этого-то я и ждал, думаю я. Мне становится стыдно, и я гоню этот стыд.

– А исправления вы сделали? – спрашивает руководитель.

– Не успел еще, – говорю я и утешаю себя: я ведь действительно не успел?..

– Как же это так, Витя? – говорит руководитель. – Пройдемте ко мне в кабинет.

Я плетусь к нему в кабинет. Руководитель плюхается в кресло, и оно раздается под ним. Я стою у стола и не смотрю на руководителя. Я вижу на аккуратном его столе американский скрепкосшиватель и не могу оторвать от него взгляда.

– Ну, рассказывайте, Витя, – говорит руководитель своим специальным ласковым тоном.

Я молчу. Руководитель снова извлекает из себя свой знаменитый такт и не спрашивает больше. Он начинает говорить сам:

– Что же это, Витя? Я знаю твоего отца, ты учился вместе с моим сыном... Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же умный, способный парень, тебе много дано... Чем же объяснить твое отношение?

Я молчу. Я знаю, лучше мне не говорить. Наверно, он действительно относится ко мне неплохо. Наверно, ему хочется пойти мне навстречу и оставить меня, хотя я и не оправдал ничего. Наверно, он даст мне еще время, чтобы я показал себя. Лучше уж не давать ему честных слов. Это честнее. Лучше отмолчаться и подождать, пока он решит все сам и отпустит меня, похлопав по плечу...

Руководитель выдерживает паузу и продолжает:

– Ведь ты же взрослый человек, Витя... Ты ведь хорошо помнишь ваш школьный выпуск... Кухарский, Потехин и Мясников – уже аспиранты. Москвин и Номоконов – научные сотрудники крупных и перспективных институтов. Запороженко – уже капитан... А ты ведь был далеко не менее способным, чем они.

Он еще выдерживает паузу и говорит уже более шутливым голосом:

– Испытательный срок кончился? Кончился. И вышло что? Вышел фук. Я могу, конечно, дать тебе еще возможность... Но я должен быть уверен...

Я стою. Я молчу. Это еще не ложь.

– Так вот, Витя...

Тихая возня поднимается во мне. Все в кабинете плавно сползает в сторону. И расплывается это все. Больше я ничего не слышу и не вижу.

А вижу я кактус на подоконнике. Каждую его иголочку. Сам зеленый, а иголки рыжие. А за окном небо, почему-то синее. Снег сверкает. Снег и кактус. Красный трамвай с белой крышей изогнулся на повороте. Трамвай и кактус. И купол – такой голубой, что растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья... Да ведь это тот самый сквер! Я всегда радуюсь ему после работы...

А в оконном стекле, повыше кактуса, – пузырь. Удивительно в этом пузырьке! И небо, и снег, и трамвай, и деревья, и купол – все помещается в нем. Маленькое, странно вытянутое и какое-то особенно яркое. Там снежный город. Кто-то живет в нем, вовсе крохотный... Интересно, каким он видит меня оттуда?

*1961–1962*

## Сад

*Двадцать девятого декабря*

Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подсакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабу – кого только не зовут к телефону! – но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку – узнает время. В следующий раз набирает неопределенный номер, причем одну цифру недобирает. “Витю можно?” – говорит. Витя Кошеницын – хороший, маме нравилась бы такая дружба: сын сослуживицы – все на виду – и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: “Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал”, – повесит трубку. Маме нравились бы такие разговоры. Но вовсе этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта...

И тут, конечно же, судьба: вдруг он забыл обо всем – о чем же таком он думал глупом-глупом! – и когда, обмирая, бросился на звонок, – мама уже держала трубку: “Алексей, это тебя”, – и по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому ясно, что на этот раз звонит Ася: мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается – лишь бы не покраснеть, подойти как можно спокойней, безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину: ведь ясно же, недаром он толкся у телефона, все всё знают и принимают – плохая игра, хорошая мина... Алексей берет трубку. “Да. Здравствуй...” Тут можно было бы и сказать: “Ася”. Раз уж проворонил и тебя рассекретили. Если бы подошел сам или хотя бы кто другой, кроме мамы, можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасет мало: слишком много получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как.

– Это мама подходила! – До чего же прекрасный голос!

– Да...

– А как ты понял, что это я?

– По... лицу.

– Маминому?

– Да.

Смеется, подумать только!

– Так ведь говорила с ней не я!

Что-то сразу сжимается в Алексее.

– Кто же? – говорит он и сам удивляется, как падает у него голос.

– Муж.

– А этому типу чего от тебя надо... – Слова трепещут, тянутся и рвутся: словно одно – как камень, а другое – жидкое.

– Да ну что ты, Алеша, что ты! – ласково говорит она. – Ну ты же знаешь...

– Случайно встретила?.. – говорит Алексей ядовито и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени: выдает с головой – ла, ала, яла, ила. Не понимает, что тем более выдавать себя не к чему, что вызывал его мужской голос, а выходит, разговаривает он с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любят.

– Ну, Алеша, к чему такой тон! – говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердилась, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша. – Ты же знаешь, я тебе говорила, что должна была с ним встретиться...

Ну, положим, она этого ему никогда не говорила, но Алексей вдруг успокаивается. И тогда становится очевидно, что какая же тут ревность, раз он ЕЕ слышит, что и сказал он эти две фразы: “А этому типу чего от тебя надо...” – “Случайно встретила?..” – может, только потому, что разволновался от ее голоса, и ни по чему другому. Но этого по телефону не объяснишь. Да и объяснять не надо. Да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей. И выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю, – так просто, как всегда...

И тут уже ясно, о чем дальше разговор, – о встрече. Вот если он еще немного потопчется в разговоре и не спросит – спросит она. А если не выдержит и спросит он – она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята. И кто ее знает, как она там занята. И он говорит:

– Ну так я приду.

– Нет, Алеша, я сегодня занята. – Так он и знал!

– Чем же это? – Опять слова то жидкие, то твердые.

– Господи, Алеша... Ну, стиркой. Новый год же...

– Так я тебе не буду мешать – просто посижу.

– Не надо, Алеша. И дома сегодня все будут.

– Я все-таки приду.

– И твоя мама...

И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя у него дел по горло. Сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит.

Но чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет.

Ася живет у Нины, своей подруги, – снимает угол за пятнадцать рублей. Нина – красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца, Сергея Владимировича, необыкновенного старика, из “бывших”. И все они, втроем, живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах. На каждом марше, у высокого окна, вделана капитальная скамейка для отдыха. И вот на четвертом, направо – дверь...

И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем. Потому что тут – пауза, шорох, шаги за дверью – все могло произойти. Могло не оказаться Аси... потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, – соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович. Не просто открыть, тут множество оттенков: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице...

Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жалкости, деревянный, стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и

молчал. Словно выжидал. Поэтому Алексей не мог сказать: “Здравствуйте, Сергей Владимирович”, – а сказал, причем слишком отрывисто:

– Ася дома?

Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, а потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился так же молча.

Алексей глупо стоял перед дверью.

И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка – 2 звонка. Она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся, и тогда она, ласково улыбнувшись, сказала:

– Вы уже звонили?

– Да, – твердо ответил Алексей и отошел от двери.

– Ах, она даже открыта!.. – Распухшая сумка в одной руке, газета и кошелек в другой, она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком, и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уж пройдя и прикрывая за собою дверь – на свету остался лишь один ее толстый глаз, – сказала:

– Не закрывать?..

– Нет, – сказал Алексей срывающимся от злости голосом.

И надо же было ей подняться именно в эту минуту!

И не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась – Ася, ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо злое. Видно, кроме старика, сказавшего ей что-то, кроме стирки, вот еще и столкнулась с соседкой – 2 звонка.

– Я же говорила, не приходи!

Больше ничего Алексею не надо – стоит в дверях живая Ася, ситцевый халатик, плечи остро под халатиком, руки мокрые, шлепанцы огромные, ее голос, ее глаза и волосы. И это ему не кажется – на самом деле...

Ася смотрит на него, теплеет.

– Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны... – Она уже смеется. – Полчаса подождешь?

Господи, полчаса... Час! Два!

Сад. Уголок его. Скамейка между сараем и садом.

она. Но так больше нельзя. Зима, понимаешь?.. А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то *прийти*. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак? И ждать тебя по утрам, когда наконец я одна: придешь ты или не придешь? Ты-то, конечно, придешь... И целоваться вот здесь. И на лестнице тоже целоваться... Холодно ведь. Это тебе тепло. А мне холодно...

он. Не надо так... И ты не права. Это так, конечно... Но ведь я тебя люблю. И ты... меня любишь. И мы бываем часто одни, совсем одни. Нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, *как* нам везет. И ты знаешь ведь, я... все, что могу. Но я не все могу. Но я знаю, не думай... Это-то я уже знаю: счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах. Ведь мы...

она. Милый, ну... Ты любишь. Я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну как же не любить такого! Я злая. Ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая, верно, испорченная... Хотя кто это знает? Все осколки, сумятица... Но мне нужно все то, без чего ты готов прожить... Ведь ты живешь дома? А? Ты ведь живешь *дома*? Что, молчишь?.. Мама тебе готовит? Да? Спать ты ложишься в постельку? Вот пальто на тебе? Молчишь?..

он. Я тебе говорил. Я уйду, если ты настаиваешь...

она. Не криви. Ты ведь умный, не идет тебе. Не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти...

он. Уйду.

она. Ну что ты!.. Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок! Ну не ребенок... Это ведь я тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую... Вот и вот. И сюда...

он. Завтра же уйду... Уйду не потому, что ты... Уйду...

она. Милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? (*Смеется.*) Ты же... Ты же можешь привести меня?.. (*Смеется все звонче и тоньше.*) Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната! Маленькая, правда... (*Резко хохотнув.*) Ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили... (*Хохочет, раскачиваясь.*) Воображаю, какое будет у нее лицо! (*Хохочет, как всхлипывает, стихает.*) Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно...

он. Не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь...

она. Что знаешь? Что я такого знаю! Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу! А почему же это я не могу прийти? П-почему?

он. Не надо так... Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь...

– Почему же – не жизнь? *Она* ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет. Благородная... Почему же не жизнь?.. (*Пауза.*) А я вот иногда мечтаю, чтобы она была стерва. Чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная. Чтобы считала, к примеру, сахар... Насколько было бы проще! Да я бы счастлива была... (*Пауза.*) Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю, знаю! Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей! Выгодно! Она ведь... Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься! Нет, а? Не любишь – боишься. (*Пауза.*) Будто я тебя отнимаю! Тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь так же, как *она*. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи. А я знаю.

– Я не похож.

– А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял.

– Да.

– Нет, ты удивительный человек! Это только ты можешь так сказать “да”... (*Смеется, словно жмурится.*) “Д-да...” Ведь никто, никто не знает, какой ты на самом деле. Ты еще маленький – не обижайся, – ты еще маленький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будет с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит: что тебе в нем? А я знаю... Только меня вот не будет с тобой.

– Конечно, буду.

– Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда. Чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже старуха.

– Не надо. Ну что ты говоришь!

– Вообще-то не такая уж и старая я буду. Маленькая собачка до старости щенков... (*Неживо смеется.*) Так что тебе и не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит...

– Ну зачем ты!.. Ведь это не прошло. И не пройдет...

– Не люблю, когда так говорят. И голос деревянный. И не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была... Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был, тебе неловко было. А ты ведь не забыл. Где-то у тебя остался вопросик-то? На веревочке... Все время висел. И это тоже – *она!* Я ведь “такая”... Ты мне веришь, а там, где вопросик, и не веришь. Ты не думай, что вот у тебя “благородное чувство”, так и изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик... И не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила?

– Мне не это важно. Я не потому...

– Важно, очень важно! Всем это важно... Я к нему пришла, и мы с ним уснули... Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький... Да ведь я же ему жена... И мы не разведены еще. Ну что надулся? Поцеловать?

– Не надо.

– Ну что ты... Глупый... Ты не гнишь. Все равно поцелую. Ну, сильный, сильный... вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули – и все. А ты мне поверь, поверь... Вот я тебя и поцеловала! Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь!.. Все не веришь?

– Верю.

– Не веришь... Господи, ну что же это я за дура! Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла? А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь... А ведь к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл.

– (Уже смеется.) Машинку?

– Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня машинка – все, последнее. Это еще мамина машинка. Думала, убью... Прихожу, а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось, и машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит: “А я все продал”. – “И машинку?” – говорю я. – “И машинку”. Я ему говорю, деньги-то хоть отдай! А он говорит: “А у меня их нет... Я, – говорит, – четыре столика на Новый год в «Астории» заказал. Проститься... Придешь?” Стоит моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плачу, а он тихий... Вот ведь и ему досталось...

– И ты пойдешь?

– Куда?

– В “Асторию”? К этому...

– Он так меня просил... “Какая ты красивая”, – говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю... “Неужели, – говорит, – ты все еще с этим сосунком?” (Берет его за руку.) Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Аничковом мосту, помнишь? Я тебе показывала... А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти? Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может... Но ведь Новый год!.. Люди, праздник... А нам с тобой ведь некуда?

– Я же тебе предлагал... У Фриша собираются...

– Не пойду я к твоему Фришу! Не хочу их видеть!.. Слюнтяи. Я знаю их насквозь. Они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели...

– Ну тогда пойдем в ресторан...

– В ресторан?.. А ты знаешь хоть, когда он, Новый год? По-сле-зав-тра! Ну в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай уже поздно...

– Куда-нибудь попадем... Не останемся же на улице. Это ведь невозможно...

– Вот именно. Все так просто... А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник!.. Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо... но их же нету. А в чем я пойду? О чем разговаривать... Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним...

– А зеленое?

– Не знаешь? А ведь, наверно, это тебе известно... В ломбарде. И тридцать первого срок. А ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь... Люблю... а вот ведь есть еще и платье! А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства – настолько не можешь. Люблю... а мне вот платье выкупить надо! Жизнь такая...

– Не надо! Только молчи... Я достану. Ты выкупишь...

– Прости, милый... я опять... я не хотела. Да и не в этом же дело! Я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать... Я с тобой дома хочу. Дома, понимаешь?

Милый... ну чтоб мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти... чужой. Где он, дом?

– Достану! (*С отчаяньем.*) Достану я деньги!

– Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки... Тебе ведь *негде* их достать...

Ты понимаешь, “негде” – это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало... Мне все равно будет мало – вот ведь ужас! Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. *С тобой*... Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду.

– И на юг мы поедem! (*Почти со злобой.*) Господи, неужели эти деньги... это такая ерунда! Ну если бы только деньги... Ну я работать пойду... Ну... достану, наконец. Я знаю где. И ничего мне не будет. Десять тысяч по-старому – знаю где. И мы уедем. Этого же нам хватит. Даже на несколько месяцев хватит... Хватит, а? Хватит?!!

– Несколько?.. А потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне – ты не представляешь... Это происходит. Ты не слушай... Ну, конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг?! Ты кончишь институт – я подожду – что такого, на пять лет старше – ведь пустяки – бывает жена и на десять старше – и ничего... Не расстраивайся, ну, хороший мой... стоит ли из-за меня. Я ведь счастлива, счастлива, что у меня – ты! Я ведь не знала этого... Я злая, прости... Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим! Я со зла сказала, а я уже договорилась: Нина уйдет в компанию, старик тоже к каким-то знакомым пойдет... и мы останемся вдвоем... Я только на час, на один только часик в “Асторию” сбегаю и вернусь... К тебе. Ну не сердись, ну пожалуйста, я ведь обещала... Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в одиннадцать...

Он возвращался домой, глупо улыбаясь. Уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старинные, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа впереди белеют черные деревья Летнего сада – и все никак до них не дойти.

На пустой и полутемной Садовой у остановки притормозил, словно присел, автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спеша шел. Улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний, и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыв, было куда лучше. Пахло морозом и мандариновыми корками – Новым годом.

На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия – все это кружило над ним, мучило душу, и Ася уходила.

Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, – тень собаки; ноги, тени ног – много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, исчезла. Алексей рассмеялся.

И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности...

И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно – и тогда конец. Только еще одно доказательство – и конец. Никогда он так напряженно и маетно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее; это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и

доказательство появилось и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал *не* видеть, *не* замечать, *не* следить. Потому что если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера или продолжение или гибель – кто знает? – его любви.

Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли: остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мысли, так что и не понять, и не вспомнить потом было... Так было, наверно, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было, и мысль о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения действием приводила лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего: родителей, института, жилплощади, денег, собственного иждивенства и мальчишества... Только к этому приводила, ни к чему другому, и все живое тогда помиралось в его душе, а дороже всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему – и тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время... Поэтому так думать он ни в коем случае не мог, он бросал мысль на полдороге – дальше яма, пропасть, шагнуть туда не хотелось, так уж привычен был механизм этой мысли и механизм ее избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал.

Он уже замерз. И тут, совершенно неожиданно – автобус – казалось бы, их больше не должно быть, – и Алексей вскочил в него.

### *Тридцатого декабря*

Он мычал и не мог проснуться. Затем он мычал и не хотел проснуться. Затем он мычал и делал вид, что не проснулся. Над ним стояла мама и сдержанно, но твердо, в чем были огромный опыт и знание всего: как Алексей не умеет вставать, и как он прикидывается, чтобы не вставать, и что он уже не спит, а только делает вид, и где он вчера был, – над ним стояла мама и методично, словно опережая каждую возможную уловку или возражения... над ним стояла мама и говорила:

– Алексей, проснись. Ты вчера просил разбудить тебя в шесть, Алексей, ты уже проснулся. У тебя сегодня контрольная. Алексей, лучше встать сразу и не мучить ни себя, ни меня. Встань, как я тебя учила: сядь – и сразу ноги на пол.

Тут уже все безнадежно.

– Сейчас, мама... я уже проснулся... я уже больше не усну... я сейчас встану...

– Алексей! Открой глаза.

Надо хотя бы открыть глаза... Но их не открыть. Все-таки открыл. И тогда особенно понял, как хочет спать. Словно они были полны песка, и сейчас, когда он раздвигал веки, песок зашевелился, заерзал под ними.

– Вот видишь... я открыл... я не сплю... сейчас встану...

– Алексей, я не обязана над тобой стоять.

Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контрольную – последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, неспавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж не готовился, надо успеть хотя бы написать шпоры. Неосознанная и страшноватая ученическая боязнь и суэта возникли в нем и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уж отличником он никогда не был... Так это все мелькало – мечталось, как он чудом, но все-таки подготовился и напишет на пять,

будет допущен к экзаменам и их тоже все сдаст на пять – подумать только... Все он делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно: и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там, где-то на доньшке, где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: излишняя поспешность только вредит делу, спеши медленно, главное – экономия движений и организация и так далее – та же отличниковская игра.

Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал конспект. Конспект этот он вымолил у Кошеницына – тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже третий день. А сегодня уж точно придется отдать.

Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные три дня: вот когда бы он действительно все знал! – сладкое и лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради – на таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля (можно и простым), и нумеровать страницы, и составлять содержание, тетрадь окончив. Такая она толстая и красивая, и вся исписана – наслаждение и удовлетворение, труд и плод того же отличника... Тетради такой у него, конечно, не было, но чувство было, и поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок, много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было.

За стеной скрипела кровать – садилась мама, шаркала шлепанцами к его двери, мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли... Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворилась, мама видела склоненную голову сына (сын не поворачивался к ней – это был пережим, но его не замечали ни он, ни она), некоторое удовлетворение появлялось на усталом мамином лице.

И мама ушла.

Все сразу разжалось в Алексее. (Больше ему не полагалось проверки.) Тело вдруг затеплилось, зацепенело до кончиков пальцев. Он взглянул в окно... Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно: только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышу заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине одиннадцать уже лет – и вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами, от этого появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который и до сих пор ему непонятен. Что-то странное начинает твориться с руками – они растут, разбухают, чужие, не свои, и что-то ужасное и непоправимое, неизвестно что произойдет сейчас с тобой. А фон и место действия кошмара – зимнее утро, школа, ранний туда приход, раздевалка, желтый гнойный свет и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет коридоров и классов, бесшумное всех движение, и учителя, как огромные мыши этих коридоров...

Алексей смотрит на будильник – остается всего час. Не успеть – что-то сжимается от того же ученического страха. Он судорожно подвигает полоску шпоры, аккуратно выводит название темы и подчеркивает. И подтемы – и подчеркивает. Теперь уже надо выписывать из конспекта. Тетрадь толстеет на глазах. И тогда тошнота, безотчетное отчаяние подступают – он снова смотрит в окно фонарь, гриб и неуклюжий, конусом, часовой, похожий на черного деда-мороза, – то же тепло и оцепенение подбирается к Алексею – сон.

Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по краткому пути: центральный вестибюль, картинная галерея, главная лестница, деканатский коридор, а через столовую и химкорпус, с другого конца. Именно чтобы не встретиться с кем-либо из преподавателей или из деканата. При этом мысль, что в этой-то каше перед началом сессии и не до него, таких много, была для него досужей. Даже если так, просто сталкиваться не хотелось.

Он только с некоторым удивлением замечал, что в начале года бодро ходил по главным путям и не тушевался у деканатской двери, тогда все еще было впереди и завтра он садился заниматься. Особому анализу он, впрочем, не предавался, идя в обход, это уже было не в первый раз, привычно.

Все уже почти были в сборе в темном тупичке около аудитории. Гудели. Пока он всем пожал руки, тоже пришел в возбуждение, словно наэлектризовался. Все вели себя по-разному. Быченков, конечно же, ныл и недостойно у каждого что-нибудь выпрашивал или договаривался, заручался, так сказать, у каждого, кто что может. Быченкова избегали, но он ловил, и те скучнели и соглашались. “И в результате ведь напишет...” – неприязненно подумал Алексей. Кто-то суетливо шуршал конспектом, отвернувшись к стенке, – последняя возможность. Это был Денисьев. “А этот не напишет”, – подумал Алексей. И другой точно так же шуршал, Фроленко, Хроленко, как его звали, но: “Напишет”, – подумал Алексей. Еще двое были бодрее всех, стояли у самых дверей, ждали впуска, это, так сказать, центрфорварды во всем, дружные ребята, сачки, но успевают всюду – эти напишут. Что-то очень унижительное почувствовал вдруг Алексей в этом трепете перед дверьми. Но тут же постарался прогнать это ощущение – засуетился со всеми.

То есть он стал по очереди у всех заручаться шпорами – безнадежное дело. Во-первых, все они были уже “забиты”. Во-вторых, все что-нибудь уже имели к контрольной – только он не имел. От этого становилось плохо: казалось, все напишут – только он не напишет. Оставался Мишка, лучший приятель, но у него и самого наверняка ничего нет. На всякий случай подошел и к нему. Оказалось, и у него были. Никого теперь не было такого же, как он... И даже тут – в который раз! – подлетел Быченков и заскулил: “Я уже за Мишкой забил...” – “Я думал, ты не придешь...” – сказал Мишка. “Что ты их, солить собираешься?” – зло сказал Алексей Быченкову, но отворилась дверь, в дверях – доцент Вершинин, все ринулись. Набились в три задних ряда, как селедки. “Мальчишество, глупость, – думал Алексей, толкаясь и пихаясь со всеми и занимая последний краешек последнего сиденья, – все равно ведь сгонят...”

– Что за детский сад! – сказала ассистентка Большинцова. “И она тут... их двое, – удрученно подумал Алексей, – а я и не заметил”. – Что за детский сад, – сказала она. – Аудитория специально большая... По два человека за стол.

Все давились со щенячьим замиранием и не трогались с места. Это относилось ко всем, но не к каждому.

– Это ко всем относится! – сказала ассистентка. – Ну же.

Это выглядело глупо, ассистентка была интересная женщина, и Алексею стало неловко. “Безнадежное же дело, – подумал он, – что за скука и тоска...” И встал чуть ли не первым.

– Проходите вперед, не стесняйтесь, – сказала ему ассистентка.

Вершинин кончил разбирать билетки и разносил их по столам. Алексей сидел один, впереди всех, вертел свой билетик. Обернулся: центрфорварды сидели лучше всех в конце у стены; Быченков тоже сидел неплохо. На всех лицах была уже серьезность, контрольный азарт, лица выглядели нездоровыми. Каждый впивался в свою бумажку, чуть не выхватывая ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая и не сбиваясь со счета. И вот уже все оделены.

Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся назади сидящих. Все, все что-то писали – так казалось. Нагло “шпорили” центрфорварды. По проходу ходила ассистентка, встретилась с Алексеем взглядом – пришлось отвернуться, чтобы не спросила: “Вам что-нибудь надо?” – и вообще не стоит мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка под села к Вершинину, зашептались. Вот он, момент! Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием, тихо тянет из-под свитера конспект Кошеницына. Конспект там нагрелся, теплый... И вот тетрадь на коленях. Теперь надо... Алексей косится одним глазом – ничего, разговаривают Вершинин с Большинцовой, не смотрят. Теперь осталось только найти в конспекте что ему надо. А что ему надо? Алексей крутит под столом страницы – ничего не узнает. Страницы гремят. Будто он идет по крыше – такое ощущение: и грохоту много и упасть можно. Алексей косится на Большинцову; не слышит ли та этот грохот, – Большинцова косится на

Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запикивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него и не дотянуться. Вздыхает освобожденно. К черту.

Отдохнув, Алексей обернулся: невообразимая деятельность протекала всюду. “Неужто они не замечают? – как обычно, удивился он. – Опытные же ведь люди... Не хотят, – подумал он. – Но тогда почему же они все-таки иных ловят? Меня, например, поймали бы с охотой... Жертвы, – ответил он себе, – жертвы для острастки. А всех нельзя. Кто же тогда учиться будет?” Кренделей было уже много. “Взять вот, вывести функцию кренделя – и сдать... Хулиган, скажут, но какие способности!” Вершинин с ассистенткой беседовали, ассистентка тихо и мелодично посмеивалась. Алексей обернулся: те же деловые склоненные головы, судорожные ужимки со шпорами, никто ни на кого не смотрит, центрфорварды строчат, и Быченков строчит... Никому ни до кого нет дела. Вот только что и поймал растерянный взгляд Денисьева, сделал ему какой-то знак и сам бы не понял, какой и зачем; Денисьев сделал жалобное лицо, мол, сам ни черта не знаю, каждый делает такое лицо, даже если и знает, чтобы отвязаться, чтобы зря не рисковать... Противно... “Каждый за себя, каждый за себя... – вырисовывал крендели Алексей. – Все немножко Быченковы...” Вот если бы сидел поближе Быченков, Алексей бы хоть немного развлекся: пооборачивался бы к нему, попугал, посмотрел бы, как бы тот стал отмахиваться и шипеть и какое жалобное пополам с ненавистью было бы тогда у Быченкова лицо. Это его немного развлекло, такое представление. Вот уж кто никогда не поможет! Еще Алексей помечтал о том, как он вдруг знает каждый предмет лучше любого преподавателя, по этому каждому предмету и на экзаменах всех сажает в лужу, не всех, а тех, кого не любит, тем же, кого уважает, просто отвечает так блестяще, так блестяще, что ему в ведомость ставят пять с пятью плюсами, а оригиналы даже шесть ему ставят... Но тут уже кто-то первый сдает работу, и второй. “Вот ведь сволочи! – думает Алексей. – Что за отличниковская прыть! Первый, не первый – что за удовольствие такое! Написал – помоги соседу. До контрольной сами небось так говорили, а теперь несут. Эдакая подобранность и серьезность на лицах... Или: раз уж написали и не засыпались, то зачем же засыпаться, помогая? Боятся, еще и поэтому спешат сдать. И центрфорварды, и Быченков... Даже Денисьев и Мишка что-то строчат поспешно – дождались, значит”. Хоть бы кто спросил его: может, помочь? Все же проходят мимо, сдавая работы... Один из центрфорвардов, правда, спросил, но таким уж шепотом, чуть ли не нарочно громким, чтобы заметили и прогнали (а работу он уже сдал, так что ему ничего), и такое при этом было у него лицо, заранее испуганное, только ждущее, чтобы ему ответили: “Нет, ничего не надо”, что Алексей только рукой махнул: проходи, мол, проходи... Хорошие все-таки ребята, эти центрфорварды, лучше других. Самые-то лучшие сами сейчас заваливаются... Алексей сложил свой листок кренделями внутрь, надписал и сдал. Положил в стопку – вышел.

– Ну как, Леха? Ну как? – набросились на него центрфорварды.

– Да никак, – небрежно сказал Алексей.

– Что же ты, что же ты?! – зашептали они. – Там же всего четыре варианта было, мы установили. У нас ответы на все есть. Мы бы переслали...

– А-а, – неопределенно сказал Алексей и пошел.

– Ты совсем уходишь, а? – слышал он, но его уже не было. Тем же круглым путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста, он вошел туда, пригнув голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий. Две раздевальщицы переговаривались, перегнувшись в своих окошках. Радио пело песню “Когда я на почте...”, это была обожаемая в детстве песня, и он еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и уютно. Тускло светили лампочки. Толстые, мохнатые, теплые на вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молода и ничего себе, что-то и еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли, или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал – очень сладкое и тоже школьное ощущение, только

теперь он в другом качестве, знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она, покачиваясь – все на ней в обтяжку, – шла между вешалками и пока возвращалась, и глядя и не глядя на него, не зазывая и не отталкивая. Все это сильно подействовало на Алексея. Особенно, что взгляд ее и призыв был не до конца – это действовало еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку, или потрепать по щеке, или задеть словно бы случайно грудь, но он не сделал этого и ничего не сказал – оделся и ушел.

Зажмурился от света – вот ведь уже и светло! – вздохнул полной грудью и оказался на свободе.

Не было двенадцати, а он был уже дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. Он бродил тогда по комнатам, совал свой нос в шкафы и столы, варил себе чай и пил его через макаронину, читал лежа. Потом приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. Два часа свободы. В распорядке дня.

Пелагея Павловна обрадовалась, что пришел Алексей и кто-то теперь есть, кроме нее, в квартире, и, обрадовавшись этому, ушла на рынок. Это было еще лучше для Алексея. Он закрыл за ней на крючок, так что теперь никто не мог бы войти с ключом, надо было звонить. Так делалось, когда оставался только кто-нибудь один. Ввела его Пелагея Павловна, ссылаясь на глухоту.

Алексей достал из холодильника замечательный теткин паштет, сделал себе бутерброд и все прилежно расставил по своим местам – сработал под Пелагею. Укусив бутерброд, он прошел в теткину комнату. Окна выходили во двор, и комната была сумрачная. До сих пор многое в ней Алексей видел глазами детства. И теперь ему до некоторой степени семь лет, когда он входит сюда. Словно входит он, несмотря на запреты, захлебываясь от собственной смелости. И видит, всегда первое, что он видит, – эту желтую Венеру, такую голую и безрукую. А потом рояль, книги. Но теперь это было только чуть-чуть Венера теперь была очевидно гипсовая, а сам он очевидно к ней равнодушен.

Алексей просмотрел стопку книг на рояле, торкнул пальцем в клавиши. Звук вытянулся по комнате и растаял, словно бы в сумраке. Доел бутерброд, обтер руки о попону рояля, полез в буфет. Достал початую бутылку кагора, примерился и отхлебнул, пристально взглянул на уровень, отхлебнул еще. Поставил на место. Все это он заел ложкой варенья. Варенье было свежее, незасахарившееся – сплылось сразу, словно и не ел. Опять же все расставив по местам, как и было, достал из-за трюмо теткину заначку – вскрытую пачку “Любительских”, – закурил. Сел за теткин стол. Стол был старинный – огромный, с массой ящичков. Он не стал сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного, и во всех этих ножичках, стаканчиках, календарчиках он узнавал старых детских знакомых. Тут лежали какие-то бумаги – в основном протоколы заседаний кафедры, они его не заинтересовали. Прочел довольно свежее письмо от какой-то восторженной Туси, совсем уже старушки, по-видимому, письмо предназначалось Кисе, то есть тетке. Помнит ли та, как они вместе, и т. д. Становилось немножко стыдно: так давно это было, – Алексей почти понял, что не надо было его читать, и он сказал:

– Действительно, запомнить трудно... – ухмыльнулся для бодрости, но письмо отложил. Ключи от стола лежали все в том же стаканчике. Он отпирали ящики по очереди. Тут мало что переменялось за последние годы, можно сказать, ничего. Все оставалось в том же безукоризненном порядке и на тех же местах. В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них не прибавилось за эти годы. Он узнавал и эту стопку фотографий, и ту, и связи писем те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть. Живым казался только один ящик, самый большой, центральный. Он и тогда был живым. Он действовал по сей день. В нем сосредоточились текущие дела. Из одиннадцати ящиков стола они помещались в одном. Но и тут попадались вещи старые, просто тетка ими еще пользовалась. Книга расходов,

например. И адресов с телефонами. Потом опять письма, довольно немного. Списки каких-то товарищей. Билет в лекторий. Еще что-то. Несколько футляров с авторучками и карандашами. Клубок штопки. Пухлый блокнот – делегату чего-то, совсем непечатый. Записная книжка. Там, среди прочих записей, Алексей натолкнулся на список облигаций трехпроцентного (золотого) займа. Список был очень велик. Но в этом ящике Алексей обнаружил всего две облигации, больше не было. В списке эти две не значились. Значит, остальные хранились где-то в другом ящике. Алексей снова аккуратно пересмотрел все ящики, но облигаций – это должна была быть толстая пачка – не обнаружил. Он ясно представлял, какая должна была быть эта пачка, завернутая, перевязанная ленточкой, и под ленточкой картонка, и теткиной рукой написано: “3 %-й (золотой)”. Алексей так это ясно себе представил, что ему даже показалось, что он уже видел эту пачку сегодня, и старался вспомнить, в каком же ящике видел. Но вскоре понял, что ищет зря, а кроме стола, хоть убей, не мог представить, где бы тетка их хранила... Он привел все в прежний порядок, взял из среднего ящика те две облигации и остановился в раздумье. Они были гладкие, ровные, зеленые, и как-то сгибать их не хотелось. Взгляд его остановился на ночном столике – там лежал обширный атлас мира. Алексей заложил облигации в какую-то Африку и вышел с атласом из комнаты.

Выйдя, он быстро, но не суматошно прошел в комнату Трефилова. Там он ничего не осматривал, сразу подошел к письменному столу и, хотя не знал, где что лежит, как-то удивительно скоро угадал место, где лежали облигации, вытащил из середины пачки одну и заложил в тот же атлас, к первым двум.

Сердце его колотилось – он внезапно заметил это, когда уже вышел от Трефилова и шел по коридору. Он подошел к входной двери и снял крюк. Тупо постоял в прихожей и прошел в мамину комнату.

В комнате был необыкновенный запах, и Алексей словно бы не сразу узнал комнату. Прислонившись к стене, стояла елка. “Ну да, елка... – сообразил он. – Новый год же”. Елка была очень хороша. “Вчера ее еще не было, – вспомнил Алексей. – Когда же они успели ее притащить?”

Он сел в кресло напротив, положил атлас на колени и стал смотреть на елку в ожидании Пелагеи.

“Где они достали такую прекрасную елку?”

В сберкассе ему было трудно. Он, в общем, не знал, какие там порядки. На всякий случай прихватил паспорт. Народу было немного. Очереди было две. Спросить, куда следует встать, он почему-то не мог и встал в ту, что покороче.

Люди приходили и уходили. Дверь хлопала за ними.

И вдруг распахнулась с особым грохотом. Вошли двое. Небритые, в ватниках и сапогах, с полевыми сумками. Ни на кого не глядя, молча прошли в угол, вытащили два кресла, составили их корытцем, подвинули к креслам два стула и сели, по-прежнему какие-то удивительно отдельные от всех. Они трясли свои сумки над креслами – из сумок сыпались скомканые шариком деньги. Сыпались, сыпались – целая гора. Все-таки высыпав, они тщательно смотрели в сумки, как в подозрные трубы, – но в сумках и действительно ничегошеньки не осталось.

Потом они разглаживали бумажки и складывали пачками: трешки – к трешкам, рубли – к рублям.

Эти необыкновенные люди нравились Алексею. У него мелькали всякие картинки вроде таких, что у них по кольцу на боку, и вот они достают эти кольца – все поднимают руки, а они двое чистят кассу...

Очередь была хоть и короткая, но не та. И Алексей, рассердившись, перешел в хвост той, что подлиннее... Тут он заметил в руках впереди стоящих облигации и обозлился еще больше: как он сразу не заметил!

Те двое все гладили и считали деньги – Алексей снова успокоился, глядя на них. Так он спокойно стоял в очереди и уже был у самого окошка, как те двое вдруг заговорили, не разобравшись что, и стали складывать деньги обратно в сумки.

Сложили и ушли. По-прежнему никакого отношения ни к чему не имея.

“Ничего не понимаю”, – подумал Алексей, но застучала по стеклу сердитая кассирша. И действительно, очередь была Алексея.

Краснея, он сунул в окно облигации.

Дальше все произошло как бы мгновенно.

Какая-то старушенция дала ему шестьдесят рублей.

И паспорта у него не спросили.

...Дома Алексей ждал звонка. Ася не звонила. Это дьявольское неудобство, думал Алексей, когда у человека нет телефона!

Ася позвонила только в одиннадцатом часу. Сказала, чтобы приходил завтра с утра. А что ее сегодня не было? Все бегала, бегала...

Перед сном он читал “Моби Дика”.

### *Тридцать первого декабря*

Все было очень хорошо. Дверь открыла сама Ася. Была она в пальто, но еще не застегнутом, под пальто гот же халатик. Она обрадовалась, чмокнула его в щеку.

– Вот и хорошо, милый. Вот спасибо, что пришел. Ты всегда такой точный, просто прелесть. Не то что я. А я, понимаешь, очередь в парикмахерской держу... – Она улыбнулась. – Тут, напротив. Ведь мы же сегодня с тобой встречаем. (Она сделала ударение на “тобой” и замечательно на него взглянула.) Я должна быть красивой.

Она улыбалась. Алексей таял. Вокруг светлело, и что-то взлетало в нем, как стая. Он взял ее за руку, потянул к себе.

– Не надо, Алеша... Не дразни... Сейчас мы в парикмахерскую пойдем. Ладно?

Алексей сразу выпустил Асю, но был счастлив.

– А я деньги достал...

– Да?.. – почти равнодушно сказала Ася.

– Вот.

– Так много? – сказала она так же спокойно, Алексей был немножко разочарован и в то же время благодарен ей за то, что она не вскрикнула, не затормошилась. – Откуда у тебя?

– Достал, – важно сказал Алексей.

Ася словно бы отсутствовала.

– Вот и хорошо, – сказала она после паузы. – Дай мне на ломбард. И десятку на встречу – я всего куплю. Нам ведь хватит десятки?.. Ну что, пошли? А то у меня очередь.

Они спустились на улицу, и Алексей удивился, какая замечательная погода. Словно за городом, всюду был снег редкой белизны. И дома заиндевели. И эта старая улица с небольшими, темными уже зданиями была очень хороша. Город был не похож на себя, плавный и мягкий. Не этот город. “Вот и всегда, – подумал он, – я замечаю красоту, когда рядом Ася, хотя бы она и не замечала. А так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел город, или сад, или погоду, или небо”. Небо тоже было удивительное – белое, близкое и мягкое, но одновременно светлое.

И все это – только улицу перейти – и парикмахерская. Ася оставила его у дверей, сама вошла. В открывшуюся на секунду дверь он увидел, что узенький зал ожидания – битком, и все женщины там стоят в расстегнутых пальто; полутемно, а за фанеркой яркий свет. Ася тут же выскочила, тоже расстегнутая, и сказала:

- Подвинулась, но еще далеко. Тебе нет смысла ждать.
- Да нет, – сказал Алексей. – Я подожду.
- Ты лучше купи вина, а то я не успею, – столько дел.
- Ладно, – сказал Алексей. – Иди, замерзнешь.
- А потом сюда приходи, слышишь?

В магазинах было не продохнуть. Он входил, видел толпу и отчаивался. Так он заходил в несколько. Наконец понял, что только теряет время и нигде меньше не будет. И все-таки снова вышел из магазина. И тогда, свернув в нелепый закоулок, заметил погреб и нырнул туда. Тут были только мужики, в большинстве пьяные. Тут же и пили, бродили со стаканами. “Вот ты погоди, – говорили они, – вот ты погоди”. Их было много, но очередь двигалась быстро, и Алексей достал все, что надо. “Купил, значит”, – сказал ему небритый папаша и ласково посмотрел. “Да вот купил”, – ответил Алексей, пряча бутылки. “Вот и молодец”. – “Да уж”, – смутился Алексей. “Папу не обижай”, – сказал папаша.

Все было хорошо. Алексей вернулся к парикмахерской. Помедлил, но прошел. Он обвел растерянно взглядом толпу женщин. Все на него смотрели, но Аси среди них не было. Все были очень простые, чуть ли не все в халатах и платках, не такие таинственные, как на улице. Рассматривали Алексея и вроде бы и не рассматривали в то же время. Алексей смутился.

– Ушла твоя уже, ушла, – звонко сказала одна, он не очень понял которая, по-видимому, вон та, круглая. Все засмеялись. Алексей тоже. И тут было тепло и уютно, хотя и тесно. И Алексею стало хорошо от этого слова “твоя”: “твоя ушла”. Уютно оттого, что праздник, подумал он; понял, что все стоит и стоит, а надо уходить, еще больше смутился. Увидел телефон-автомат.

- А мне позвонить... – сказал он.

Девушка, заслонявшая автомат, отошла. Была она строгая и красивая и отошла, не меняясь в лице, такая же надменная. Он набирал неведомый номер, посматривал на девушку. А интересно, когда она любит, то она, конечно же, не такая? Может, она потому и такая, чтобы каждому было интересно, а какая же она, когда любит? По телефону его обругали, и он вышел, стараясь не поймать ничьего взгляда, быть может, насмешливого.

Он ждал, что откроет Ася, она уже дома, но открыл Сергей Владимирович. Он был необыкновенно симпатичен, прям и свеж, улыбался.

- Алеша? Здравствуй, проходи. С наступающим!

И это было хорошо. Так приятно, когда с охотой можно ответить:

- Вас также. С наступающим!

Алексей прошел в комнату первым, они еще помялись в дверях с Сергеем Владимировичем, но тот настоял, и Алексей прошел первым. В комнате никого не было. Алексей сразу сообразил, что Ася на кухне. Комната была та же, но вроде и другая. Алексея всегда удивляло, как та же самая комната может быть и другой. Конечно, тут и приборка много значит. Тот же колченогий стол, и те же три, в общем, железные кровати, тот же комод, когда-то красного дерева, и те же, уже никакие, обои – все это сегодня было как нельзя на месте, и то, что комната была в целом пустая, тоже было как-то кстати. В ней даже было как-то светлее, вернее, полумрак был словно бы чище и теплее, да и было теплее; печка была вытоплена нескучно. И Сергей Владимирович сегодня хорошо подходил к этой обстановке. “Скорее, что это праздник, – подумал Алексей, – вошел всюду...”

– Садись, – сказал Сергей Владимирович, снимая со стола ботинок, и растерянно при этом улыбнулся.

- А где Ася? – спросил все-таки Алексей.

– Не приходила еще. Да придет она сейчас, не беспокойся. Не сейчас, так скоро.

“Ну да, она, наверно, была в зале, – сказал себе Алексей, – а я не посмотрел”.

Сергей Владимирович бывал временами очень славным стариком. Тогда особенно становилась заметной его незаурядная внешность. “Порода, – говорил он. – Я очень похож на

Бунина, не правда ли?” Бедность костюма все это в нем подчеркивала. У него был черный такой самосшитый френч с черными пуговицами. Френч был плотен, как пальто. По-видимому, он и был когда-то пальто. Это было удобно: не требовалось ни рубашки, ни галстука. Когда Сергей Владимирович становился чопорен, френч выглядел на нем жалковато. Сегодня же Сергей Владимирович не был чопорен. Он, перекатывая свое замечательное “р”, рассказывал, как был корнетом или юнкером или что-то в этом роде, то есть учился на офицера, и как они тогда холостой компанией в тройках закатывались к цыганкам, как все это было здорово: и снег и шампанское; доставал желтую фотографию виллы в Крыму и такую же первой жены, первой красавицы; и до того это было уже все известно Алексею, что даже казалось странным, что ничего-то больше Сергей Владимирович не запомнил... Всегда одно и то же, и всегда словно бы сам себе не верит: да было ли это?.. – и поэтому повторяет и повторяет, как бы настаивает. “Да было ли это? – вдруг растерянно морщит лоб, словно отвечает себе: – А что? Может быть. Может быть, и не было. Все может быть...” И замолкает вдруг ненадолго, правда, и лицо его огорчается. “Как в пьесе, – думал Алексей. – Он как в пьесе...”

Потом они попили чаю. Сергей Владимирович доставал вонючий рокфор: “Кар-р-рплетками пахнет!” – говорил он и смеялся – они пили чай с рокфором. Потом даже рюмку ликеру поднес Сергей Владимирович Алексею. Ликер был ужасный, мятный, что ли. А Ася все не шла.

Сергей Владимирович вспоминал уже о том, сколько что стоило.

Ася все не шла. Алексей уже думал так: она же велела прийти к парикмахерской... и вот она вышла, а его там нет. Он елозил, слушать ему становилось трудно, а Сергей Владимирович доставал шахматы – их Алексей терпеть не мог. Алексею казалось, что сильно стемнело, хотя темнеть еще было рано; комната становилась чужой.

Тут отворилась дверь, они обернулись... Комната была длинной, окна и дверь были в разных концах, и до двери свет окна, и так слабый, еле уже доходил – так что было не понять, что там, в дверях, происходит. В комнату входила большая елка. Потом уже Алексей увидел за елкой Асю, бросился помогать. Елка кололась, ветка заползала в глаз, он смеялся, облегченный, с елкой в руках. И смеялась Ася.

Сергей Владимирович извлек откуда-то пыльный елочный крест. Алексей закрепил елку, все втроем понесли они ее по четырем углам, пока не отыскали один из четырех. Алексей отошел от елки, необыкновенно возбужденный, и все сжимал и разжимал смолистые свои ладони, они склеивались и расклеивались.

– Надо бежать, надо бежать, – сказала Ася.

– Куда?

– В ломбард, уже совсем мало времени.

Алексей почему-то удивился, ломбард казался ему само собой прошедшим.

– Ты меня проводишь? – сказала Ася. Лицо у нее было рассеянным. – Или, может, тут подождешь?

– Конечно, – сказал Алексей, – провожу.

– Смотри. А то как хочешь. Я могу и сама...

Алексей уже одевался.

– Оставайся, Алеша, – просил Сергей Владимирович. – Партию доиграем.

– Потом доиграем, – сказал Алексей.

До ломбарда было три или четыре остановки, и они их доехали. Ася была как-то сосредоточена и поддакивала Алексею через раз.

Перед ними оказалась площадь. Собор и сад перед собором. Метро. За ним рынок. Его не было видно, но он как-то ощущался. Там же, где они сейчас находились, сторона была темная, из жилых домов, и тут же находился ломбард. Он был как-то скрыт, спрятан. Ася сказала, надо проходить во двор и еще подниматься по лестнице, но сейчас, когда Ася почему-то остановилась перед домом, Алексей ощущал ломбард так же, ну вроде как рынок за собором.

– Ты тут подожди, я схожу одна, – сказала Ася.

Алексею показалось, что стесняться тут нечего, могли бы они и вместе пойти туда, но по характеру своему он не вмешивался, когда его не просили, и остался стоять; Ася же ушла в подворотню. Почему-то его очень разволновало, как она туда уходила.

Ее долго не было. Место для ожидания было неудобное, на самом людном потоке. Он выбрал между троллейбусной и автобусной остановками, между двумя очередями, – там и встал. Времени прошло пятнадцать, двадцать, полчаса. Тогда Алексей тоже прошел в подворотню. Поднимаясь по лестнице, ориентируясь по расплывшимся уже стрелкам на облупленных стенах, он представлял себе, какой ломбард (в ломбарде он раньше не бывал), и получалось что-то вроде сегодняшней парикмахерской. Он раскрыл дверь – она хлопнула за ним с ржавым писком – и очутился в загибавшемся коридоре. От дверей еще ничего не было видно, только свет в конце. Он пошел и, когда поворот открылся ему полностью, увидел очередь. Ломбард в конце концов на парикмахерскую не был похож, а скорее на прачечную. Алексей искал глазами Асю и не находил. Как вдруг кто-то тронул его за локоть с другой стороны, чем он смотрел.

– Отойдем, – шепнула Ася.

Они отошли немного от толпы, и Ася сказала:

– Тут еще не так скоро. Может, ты домой пойдешь? Правда, не стоит меня ждать. Ты иди и приходи в одиннадцать, ладно?

Взгляд ее был рассеян. Люди стояли, казалось, молча. Свет был неприятен, слабый, неживой. А главное, коридор, который гнулся не под прямым углом, а изгибался, эта кишка, темная с входа и светлая в другом конце... Алексею было немного не по себе. Воздух тоже...

– Ладно, я подожду на улице, – сказал он.

Ася вроде бы отряхнулась, взгляд ее сосредоточился на Алексее, потеплел:

– Глупый, ты иди прямо домой, не жди, – и она чмокнула его в щеку.

Спускаясь, Алексей на темной лестнице столкнулся с человеком, несколько странно на него взглянувшим и поэтому сразу показавшимся знакомым. Алексей все вспоминал его, спускаясь дальше и выходя во двор и на улицу, но не мог вспомнить. Ему стало казаться, что это Асин муж, но он не был уверен, потому что не разглядел толком его в тот единственный раз, что видел, да и этого, на лестнице, не разглядел. Тем не менее все тревожней ему становилось, он поэтому не уходил – ждал, хотя и не поднимался в ломбард проверить: получилось бы, что он следит, а ведь это не так. Через полчаса он не выдержал и медленно, но начал проходить во двор и подниматься. Дверь он открыл и прошел по изогнутому коридору, но там уже никого вообще не было, и только одна женщина что-то запирала.

– Закрыто, закрыто, – сказала она. – С Новым годом!

– Вас также, – пробормотал Алексей и стал спускаться. Спускался – и вдруг сзади кто-то напрыгнул, засмеялся – Ася!

– Вот и все! – говорила она. – Вот и все! – Она достала из сумки платье и показала ему. – Оно самое. Знаешь, как оно всем там понравилось! Даже оценщица просила меня его ей продать... Милый, все ждал?..

Алексей уже больше не волновался, постарался забыть все непонятное и вопросов не задавал. Когда они встретились, все уже стало нормальным...

– Ну а теперь я тебя посажу, – говорила Ася, когда они оказались на улице, – и ты поедешь домой. – На улице было уже совсем темно. “Рано темнеет, – подумал Алексей. – Самые длинные ночи в году сейчас”.

– Я тебя посажу, и ты поедешь. Мне еще надо всего купить, и приготовить, и самой приготовиться. Ты мне будешь только мешать. Поезжай и надень свой серый костюм. Я хочу, чтобы ты был красивый...

Автобус отъезжал. Ася осталась на остановке с поднятой рукой. Алексей все смотрел в заднее стекло, Ася удалялась, и он увидел какую-то темную фигуру, тень рядом с ней. “Собор, – подумал он, – или кто-то встал в очередь”. Эта тень растревожила его.

Потом автобус подъезжал все ближе к дому, и что-то все больше сковывалось в Алексее и сжималось. Это стало еще сильнее, когда он сошел на своей остановке, и чем ближе подходил к дому, тем словно бы тяжелее становилось идти, и он шел все медленнее. Было как в детском кошмаре, страшно, но не понять, что страшно, и от этого страшнее. Вообще в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой, вернее, труден был самый первый момент: открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия, неизвестно, начнут ли что-нибудь выспрашивать и не придется ли врать... так стало, как появилась Ася. Но сегодня было и еще... сегодня было неприятнее, чем всегда, и Алексей не мог понять почему. Он даже знал, в чем дело, даже вспомнил, как увидел вдруг елку в маминой комнате... Вчера... но это было запихнуто где-то так далеко, подумать об этом было столь уже страшно, что ему легче было не понимать, в чем дело, чем думать об этом. Он старался не осознавать своего предчувствия, и это ему удавалось. Но то, что на этот раз страх был как-то сильнее, что это было уже предчувствие, а не только ощущение, следует отметить. Предчувствие чего-то непоправимого.

Дома же было хлопотно и тоже тепло. Елка в маминой комнате была уже убрана и при электрическом свете не была такой таинственной, как тогда, когда он увидел ее впервые. 31-е было действительно особенное число, потому что того холода и строгих лиц, которые с некоторого времени только и видел Алексей, не было. Мама ничего ему не сказала и не спрашивала, была весела, и как будто забот у нее не было. Она поцеловала Алексея в лоб и вручила ему коробку. “Хоть ты и не заслужил”, – улыбаясь, сказала она. Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не надо сковываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя младше на полгода, то есть очень младше: младше на целую жизнь, младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму, расцеловал; мама как-то обмякла в его руках; он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая, и еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже полгода он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал, это как-то отпало, исчезло – и это тоже была Ася. Он чувствовал неловкость в руках, когда сейчас вот обнимал маму. И еще его удивило, как же он не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с мамой была такая любовь! И ведь, наверно, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить... Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из жизни дома, все – Ася, и это, наверно, жестоко и несправедливо с его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед мамой, но во всем этом приливе чувств прежде всего его не покидало чувство неловкости в руках, обнимавших маму, они просто были деревянные какие-то, в них не было тепла, объятие казалось потому неправдой, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было оттого, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверно, даже сильнее, как у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь. Он вдруг ощутил такую беспомощность, что поспешил уйти к себе.

Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало очень и очень грустно, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал, что детство его ушло. И еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало вмещает в себя ОН, и винил себя за это. Вот приходит одно – и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила. Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей.

И Алексей стал думать о другом. “Я хочу, чтобы ты был красивым”, – сказала Ася. Он разделся и начал разминку. Он забросил спорт в последнее время, хотя раньше каждый день это было чуть ли не главным делом. Тело теперь сопротивлялось упражнению. Но в этом насилии он ощутил – словно бы вспомнил телом – радость. Когда разогнал кровь, то открыл форточку. Остро запахло снегом.

Разминку он делал по полной программе, когда-то им тщательно, одно упражнение к одному, разработанной. Тут были и совсем сложные, акробатические уже упражнения, и то, что он по-прежнему мог выполнять их, было для него вполне серьезным удовлетворением. В нем проснулось ощущение силы и покорности каждой мышцы, которое совсем еще недавно было чуть ли не главным ощущением его полноценности и равноправия, а может, даже и превосходства в этом мире. Это ликование тела, такое привычное раньше, было теперь особенно приятно.

Следующим номером должна была быть пробежка, и Алексей стал натягивать тренировочный костюм и кеды. Нарядившись, он взглянул на себя в зеркало: лицо его, осунувшееся, потемневшее, понравилось ему. Ноги, казалось, уже бежали – такое легкое и сильное было в них ощущение.

Но он не побежал, а зачем-то еще прошел по коридору на кухню. Пелагея доставала из духовки гуся, тетка готовила свою знаменитую новогоднюю шарлотку, мама, подслеповато щурясь, строгаала огурцы, а Трефилов стоял спиной ко всем и курил, глядя в темное окно. Все обернулись к Алексею, только Трефилов не обернулся.

– Неужели побежишь? – сказала тетка, и тон ее был дружелюбен, хотя до сего дня она словно бы и не замечала его: так сердилась, что он огорчает маму; “Это тридцать первое...” – опять подумал Алексей. Пелагея, которой эти-то вещи были всегда безразличны, кроме разве любопытства, сейчас была просто сердита над гусем и посмотрела неодобрительно. Трефилов повернул голову на теткин голос, косым взглядом уследил Алексея, выпустил дымок и хмыкнул.

– Да, сбегая немножко, – сказал Алексей. Кухонный чад после разминки и открытой форточки был особенно неприятен – и он побежал.

С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до Ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало пустынно, но сейчас даже редких прогуливающихся не было. “Все готовятся”, – подумал Алексей. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами – единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво, но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказались его растренированность – ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, стали чужими. Тогда, совершенно теперь нехвата, появились две девушки, захихикали: и в Новый год бегают... И Алексей перешел на шаг. Слюна была как клей. Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду.

Дома он старательно чистил зубы, выбривался. Затем был душ. Сначала горячий, потом все холоднее, и наконец, поухивая, Алексей выключал теплую воду и брызгался в ледяной. От него шел пар. Растершись, он накинул халат и поспешил одеваться. Все он делал обстоятельно, с чувством.

И когда все было кончено, он прошел в мамину комнату и взглянул в большое зеркало. Он стоял в нем в полный рост и остался собою доволен. Всегда после такого комплекса истязаний он казался себе красивым.

Такой вот он снова прошел на кухню, где его почти насильно накормили праздничным обедом. Есть он не хотел, но без обеда мама все равно бы его не отпустила.

И вот уже был полностью готов, а времени оставалось как раз на дорогу.

– Ну я пошел, – сказал он маме. Тут надо было добавить “С наступающим вас” или “Счастливо встретить”, но почему-то, раз он покидал дом, сказать такое было неловко, вроде бы фальшиво, и он ничего не сказал.

– Ну, счастливо тебе встретить, – сказала мама и, привстав на цыпочки, поцеловала его в лоб.

– А ты разве не с нами? – спросила тетка. В тоне ее по-прежнему не было металла, но все-таки что-то она этим подчеркнула. Знала ведь и раньше, что он уходит.

– Да, мне надо с ребятами... – сказал Алексей. И все-таки выдал из себя: – Счастливо вам встретить!

Все заулыбались, закивали, но в этом было уже какое-то усилие и скованность.

Алексей вышел из дому с тяжелым сердцем, чувствуя вину и сопротивляясь сознанию ее: ее нет на самом деле, что такого?

Но в автобусе, набитом и шумном, это прошло.

Когда он поднимался по лестнице, понял, что очень волнуется. Из-за этой самой “Астории”... Пошла туда Ася или все-таки не пошла? А если пошла, то вернулась уже или еще нет? Вряд ли вернулась... Он поднимался все медленнее, и ему все больше становилось не по себе. Он еще подумал, что вот до самой почти Асиной двери, до одиннадцати часов, он постарался ни разу об этом не подумать, целый день, нет, два он не допускал себя к мысли об “Астории”. И когда он нажимал звонок, он уже очень волновался. Так было, впрочем, всегда – дома она или нет? – но сегодня было так, что можно считать, никогда он не волновался перед Асиной дверью до сего дня.

А открыла ему Ася.

Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил что. Очевидно, радовалась ему. Подставила щеку. “Аккуратней”, – сказала она. Не дала себя обнять: мять платье. А у Алексея и без предупреждений было такое чувство, что нельзя ни прикасаться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются... Щека была прохладной, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть, он смотрел, как близорукий без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его; что ни говори, а эта вот такая женщина принадлежит все-таки ему! Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним – нет, он недостойн.

Ася усадила его на стул, чтобы не путался, ей еще салат доделать надо. Тогда он увидел на столе перед собой салат и не открытый еще майонез рядом... И все получалось так, что Ася его любит, потому что если она и не ходила в “Асторию”, то все ясно, а если и ходила и все-таки вернулась и так рано, то тем более. Он балдел от этого. Ася, повязав передник, месила салат. Она опускала в него руки и ворошила массу, и в этом была какая-то ужасная красота. “Ты сегодня красивый”, – говорила Ася. Кровь бросалась в голову. “Что же ты мне ничего не скажешь о моей елке?” – говорила Ася. Тогда он увидел елку. Украшена она была всеми клипсами и бусами, какие он только знал у Аси, в основном же елка была зеленой, это было очень хорошо, что она была в целом зеленой. Когда он увидел елку, то она сразу запахла. Он балдел и от этого.

Салат был готов, а все остальное Алексей вдруг увидел на подоконнике, уже готовое. Ася очутилась с ним рядом без передника, и руки отмыты от салата. “Так и сидишь? Какой ты послушный, прелесть! – чмокнула его в щеку. – Сейчас будем накрывать. Ты мне поможешь”. Затем добежала до стенки, воткнула громкоговоритель. Кто-то сразу же запел. Ася сдернула Алексея со стула, закружила, затормозила, засмеялась. “Какой ты у меня смешной... и красивый”, – говорила она.

И вдруг Алексей увидел, как меняется Асино лицо.

Взгляд ее проходил где-то в миллиметре от его щеки, она почти что на него смотрела, поэтому особенно неприятна была перемена. Так что не хотелось оборачиваться: там могла быть кошка величиной с тигра, или горилла величиной с дом, или... как во сне, в общем. Он обернулся: там были Нина и еще две или три девушки, их он видал и раньше, Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку спорт-драма-мото-хор. Они входили, не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери. Как раз под громкоговорителем. Это о них он пел песню: “Парней так много холостых”. Алексей посмотрел на часы, было без четверти двенадцать. Стал искать глазами Асю. Аси не было. И Нины тоже не было. “Здравствуйте”, – сказал Алексей. Ответили, каждая отдельно, вполне вежливо, со вниманием, изучая. Вошли, словно бы вместе, Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли: в походке, в фигуре – досада на пространство, что оно – общее. И от дверей их как растолкнуло: Нина к подругам, Ася – куда же? – к Алексею – друг на друга и не посмотрели. “Там-там-там-там”, – заговорили под вешалкой Нина с девушками. “Ну, что?” – спросил Алексей. “А ну их к черту!” – с ненавистью сказала Ася. “Там-там-там”, – говорили в углу. Две группировки в одной комнате, ничего общего друг с другом не имеют, не смотрят друг на друга. Словно для одной не существует другой. “Они что, совсем?” – спросил Алексей. “Выгнали их, выгнали из компании, – со злостью сказала Ася. – Красотки... Немудрено”. Очень странно было наблюдать, как Нина с девушками не замечали их с Асей. Они уже разбрелись по комнате. Но существовали друг без друга и друг в друге, как мир и антимир, что ли.

Это было всерьез досадно – разрушение праздника. И не просто праздника – Нового года. И особенно *этого*. Для Алексея этот Новый год был таинство, и чудо, и осязаемое счастье. Но то, что расстроилась Ася, испугало его в конечном счете больше, и он сказал: “Ну что ж поделаешь... Раз такая несудьба. Их же не выгонишь... Дом не наш. Да и вообще не выгонишь. Надо хоть как-то встретить, чтоб по-человечески. Ну, не расстраивайся... Не в последний раз”. Ася расстраивалась. “Пригласим их, – говорил Алексей, – тоже к столу, вместе и встретим. А что не вдвоем, несчастье, конечно, но хоть что-то надо спасти. – Он робко дотронулся до Асиного плеча, боясь: вспыхнет и достанется ему, Алексею, – вот уж не виноват! – Позовем, а? Они, конечно, дуры, что так ведут... Да и не они – Нинка. Девушки – еще ничего. Ну как?” Асино лицо успокоилось, вернее, опустело. “Ну что ж, – сказала она. – Уже и чокаться пора, обсуждать нечего”.

“Девочки, – сказала она, – присоединяйтесь к нам, раз уж так вышло”. Девочки смотрели на Нину. Нина ни на кого не смотрела. “Спасибо, – сказала она каким-то невыразимым тоном. – Мы не напрашиваемся”. – “Девочки, правда, – сказал Алексей, – не надо портить друг другу праздник, Нина. Ведь мы вас искренне приглашаем. Не можем же мы встречать, а вы в той же комнате – нет...” – “Мы никуда отсюда не уйдем!” – взвизгнула Нина. “Мозги у тебя набекрень...” – с издевательским сожалением сказала Ася. “А ты не оскорбляй, не оскорбляй, слышишь! – кричала Нина. – Скажи спасибо, что мы вас терпим. Тоже... нашла мамочкиного дурачка!” – “А ты не трогай! Не трогай! – Ася вылетела на середину. – Не твое. Тебе и такого не видать! Правильно вас выгнали, так и надо!!!” Нина, руки в бедра, бочком, короткими шажками, как в пляс, выходила на середину. Она была вылитая Лолита Торрес, так все говорили. “Проститутка! – кричала она. – Проститутка!” – “Не смей!” – выскочил Алексей. “А ты куда лезешь?! Тяпчик...” – отдельно, по слову сказала Нина. “Какой тяпчик?” – растерялся Алексей. “Отойди”, – как-то недобро сказала Ася. “Там-там-там, барам”, – говорили подруги. “Завидно?! – кричала Ася. – Выгнали?.. Завидно!” – “Деток учишь?!” – “Завидно! Завидно!” – “Не надо! Не надо!” – Алексей. “Тататам-барам-тамтам!” – подруги. “Старая дева!” – Ася. “Трата-та-там, бум-друм”, – подруги. “Бьет же! – закричал Алексей. – Двенадцать же!”

Все замолкли. Застыли. Действительно. Било. Трам-тамтам-там-барамтам-тамтам! – удивительно мелодично. Бам! Пауза. Бамм!..

“Ну их к черту! Ну их к черту! – подпрыгнула Ася и повлекла Алексея. – На! – сунула ему шампанское. – Скорей!” Придвинула к своей кровати табурет, набросила на него полотенце. Неожиданно много закусок поместилось на нем. Все это она проделала не разглядеть как быстро. Шампанское выстрелило. “Бамм!” – прозвучало в громкоговорителе. И пауза. Не просто пауза – дольше: тишина. “С Новым годом, милый!” – сказала Ася. “С Новым годом!” “Там-там-тим-там-там-там”, – радио заиграло гимн. Выпили. Ася села на кровать так, чтобы спиной к Нине с подругами. “Садись, – сказала Ася. – Не обращай на них внимания”. – “Я и не обращаю”, – сказал Алексей. “Вот и хорошо, вот и хорошо!..” – Ася всхлипнула. “Да что ты! Что ты!” – разволновался Алексей. “Ничего... Это сейчас, – сказала Ася. – Ты ее не слушай, что она говорила...” – улыбнулась сквозь слезы, жалко так, несчастно, что Алексей чуть не заревел. “Да я разве... разве я когда-нибудь слушаю!” – с жаром сказал Алексей. “Салат мой ешь... Давай без тарелок, а? Прямо ешь. Ведь вкусный?.. Правда, а?” – “Очень!” – “Правда, милый? Нет, правда, вкусный?!” – Голос у Аси подрагивал, она собиралась заплакать. Алексей тоже еле сдерживался, все-таки глаза у него подернулись: видел он хуже. У них вдруг такая нежность началась друг к другу, что и от этого можно было плакать. “Ничего, ничего”, – говорил он. “Мы еще поживем, а?” – говорила Ася. “Мы – счастливые!” – говорил Алексей. “Да, да, именно! Мы – счастливые, – говорила Ася. – Ты не обращай на них внимания”. Не обращать было трудно. Хотя до сих пор, начиная с курантов, никого, кроме них с Асей, для него действительно в комнате не было. Но он все-таки сидел к ним лицом, и они слишком были видны, главным образом Нина. Она ходила от стены к стене, как тигрица. Глаза ее, так сказать, горели. Ходила и нервно курила. “И курить-то не умеет, – вдруг сказала Ася. – Дай мне”. Закурили все. Ася сидела к ним спиной, но Алексей чувствовал, как она этой спиной, может, еще больше, чем он, видит и мучится. Нина все ходила. Подруги стояли скорбной композицией. Три грации.

“Тоже странно, – вдруг подумал Алексей. – Сейчас, быть может, всем скверно, от себя скверно. Но если что-то попробовать, примирить или извинить, то будет еще хуже. А после этого уже еще больше будет каждому от себя скверно...”

Все понемногу успокаивались. Но уютнее от этого не становилось. Скорее наоборот. Каждый чего-то друг другу не досказал или не доругался, и от этого такое напряжение повисло в воздухе, словно мощное силовое поле, телепатия, “поле-пси”, сказал себе Алексей. И еще подумал: “Вот ведь и ссора и крик затягивались из-за того, что каждый, как далеко бы ни падал, что бы ни говорил, все-таки самого страшного оскорбления, которое у каждого вертелось на кончике, сказать не смог и самого худшего поступка сделать тоже. Вот Нина, она удивительно хотела сказать: «Убирайтесь вон из моего дома!» – а как ни расходилась, не смогла”.

Кусок не лез в горло. Алексей вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю он увидел со стороны, и она тотчас отдалилась. В буквальном смысле как-то видел он ее издали, хотя сидела она рядом. Это было мерзкое чувство. Хотя появилось спокойствие. Но тут был холод, равнодушие – скользкая змея. Казалось, при чем тут эта женщина, с ним рядом? Сидят на одной постели, а откуда это? Почему эта комната и в ней еще совсем уж незнакомые люди? О чем это они говорили, кричали, переживали, ссорились из-за чего? Чепуха какая-то. Алексею стало не по себе, даже страшновато, он не хотел так видеть. Это как в оптическом фокусе в популярном журнале: то видишь черное – и тогда одна фигура, то белое – и фигура совсем другая. Смотришь то так, то так, словно там переключатель какой в глазу, ручка, как у телевизора: чик-чик. Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны – и испугался, хотя так уж точно не сознавал: вдруг с этого раза начнется переключение – то так, то так. Он не хотел в себе этого зренья не по чувству. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье – это уже знание какое-то – не хотелось этого знания. Все от него становилось чужим.

Ася встала и подошла к Нине. Они пошептались о чем-то от всех в стороне. Шепот становился громче, перерастал. Уже “там-там-там” было слышно из их угла. Но что-то их вдруг остановило, шум прекратился внезапно, не достигнув того, чего уже ожидал Алексей, – повто-

рения сцены, и они разошлись. Ася подошла к нему, кипя. Шепот, злой и непонятный, почти свист – это было то, что хотела бы сказать Ася Нине, но сдержалась. Алексей снова видел только Асю, теперь не со стороны – это было облегчение, что не со стороны, и он говорил: ну что она так переживает, не надо, плюнь... “Хоть на лестнице! – сказала Ася (слова вроде бы ему, а злость их – Нине). – Хоть на улице!” У Алексея затрепетало в горле, сдавило, он не мог бы сейчас выговорить ни слова. Ася метнулась к двери, прихватив со спинки кровати свой вечный халатик... и словно бы тут же, только и успел Алексей обвести растерянно остальных участников, оказалась в халатике, а зеленое платье аккуратно развешивала на спинке, покрывала полотенцем. Что-то шептала она при этом яростное, но в то же время тщательно расправляла складки на зеленом платье – это несоответствие Алексей почему-то отметил и тогда же подумал, что то, что он это заметил, – тоже несоответствие его взволнованному состоянию, в сущности такое же, как у Аси с ее платьем. А она была уже в пальто, руки ее метались – не разглядеть, и туфли-гвоздики были аккуратно сложены в коробку, а на ногах – без каблуков, уличные. “Одевайся”, – бросила она Алексею и складывала в сумку вино, конфеты и пирожные... Выпрямилась. Алексей увидел тогда ее лицо, несколько покрасневшее оттого, что она перед тем наклонялась, злое и несчастное. Он хотел что-то ей сейчас сказать, чтобы это ей помогло, но никак не знал что. Те слова, что приходили, могли, ему казалось, еще больше разозлить Асю. Этого он, конечно, не хотел и мучился от своей неумелости и бестолковости: даже вот и сказать не может. Ася же посмотрела на Алексея, кровь отливала от ее лица, лицо белело, и, словно бы вместе с кровью, глядя на Алексея, исчезали раздражение и злость, лицо стало спокойным, ласковым и грустным. “Я нехорошо себя вела?.. – сказала Ася. – Грубо? Извини, я не хотела бы быть некрасивой перед тобой... Ты не смотри и не слушай, когда я так. Мне потом очень плохо, что ты видел меня такой...” – “Что ты, Ася! Что ты! – сказал Алексей. – Ты права... и все понятно”. – “Ну вот и хорошо, а ты забудь, милый, ты ничего не видел... на! – Она сунула ему сумку со снедью. – Пусть подавятся!” И, не оборачиваясь, они вышли из комнаты.

Эта лестница была пуста, темна и безлюдна, скамейка, на которой они сидели, уникальная скамейка Асиной лестницы, под огромным стрельчатым окном, только сюда и доходил отсвет луны, что ли, или снега на дворе, или окон, где праздновали, этот отсвет чуть-чуть (есть он, нет его?), чуть дрожащая неуловимая геометрия рам на полу, на стенке, на Асином лице, удивительном, необыкновенном. “Ах ты, олененок мой! Глазки мои... Какие глаза!” – шептала Ася, он растворялся и падал, нестрашно, сладко и очень страшно, дико, лицо Асино все к нему, в нем о нем, а его Алексея, и нет вовсе, он исчез, растаял... Эта лестница, вдруг, казалось, полная гулких шагов и голосов, сердце вспархивало, как испуганная птица, и медленно оседало, опадало на место, там шли люди, много людей по лестнице, поднимались к ним, за ними. “Вот они!” – кричал главный, брали за руки и вели куда-то, на казнь, на Голгофу, а они все равно были счастливы... Эта лестница, полная шорохов и отсутствия, никуда не деться, прикован, Асино лицо сверху, снизу – всюду.

Он был пуст, буквально ощущал себя как оболочку, из него словно вынули мозжечок, и ему казалось, что он растекается, расплзается, а не идет... пьян, не пьян... снег падал откуда-то легкими распадающимися клочьями, и луны не было, и фонари не горели, но свет – его не было, но он шел потихоньку отовсюду, как снег, вместе со снегом, тихо очень было, и они молчали – шли по своему саду.

... Вдруг он понял, что идет уже один. Было темно, снег летел со всех сторон, исчезло ощущение времени и пространства. Где он? Куда идет? Почему? Это Марсово поле. Он идет домой. Потому что они с Асей разошлись по домам. Он ощутил, как слепая маска радости, застывшая на его лице, стала распадаться. Он вроде бы очнулся. Не мог вспомнить... Ася сказала: “Расстанемся сейчас, чтобы осталось так же хорошо, как было”. Вдруг почему-то вспомнилось, как выбегали Ася с Ниной из комнаты, как шептались несколько раз в комнате... Неужели его

разыграли, и они сейчас все вместе, и... – он словно бы замер над пропастью, одна нога уже в пустоте. Стало страшно. Он прогнал.

Постарался вспомнить другое. Был прекрасный сад, и они там были вдвоем. Они сидели на скамейке, и перед ними была ровная поверхность снега, даже странно – без следов. Это, впрочем, не странно, потому что они пришли к скамейке не по дорожке, а сзади, проваливаясь по снегу. Снег лежал на дорожке так ровно, что неощутима была его поверхность; словно он пророс из земли, как белая трава: нежен и легкий, как плесень. Но главное в саду были, конечно, деревья. И, глядя на темные, словно теплые стволы и выше – на ветви, ветки, веточки, видели они, что деревья не просто заиндевели, или посыпаны снегом, или снег лежит на ветках, – ветки словно сами были из снега, толстые до странности, похожие на белые кораллы. Снег на ветвях повторял все их изгибы и линии, всю сложнейшую их абстракцию, и деревья были словно повторены снегом. Они уже не походили на деревья, а сами были как огромные невиданные кристаллы, кристаллические решетки. Даже не так: кристаллы эти были обыкновенны по своим размерам, просто они двое были необыкновенно малы, крохотны, растворены, их не было. Прекрасное дно морское... И вот они сидели – перед ними была дорожка, словно поросшая снегом, будто он пророс у них на глазах, а они тут сидели всегда, как всегда стояли тут эти огромные, уже очень старые деревья с темными теплыми стволами и ветвями, повторенными снегом.

Потом, когда тишина стала уходить из них, они пили и ели и что-то без конца говорили, неважно что и не запомнить – ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже кому-нибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этого сада не было вообще, он случился с ними – счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом.

В общем-то, они очень недолго просидели в своем саду. Это теперь понял Алексей, взглянув на часы. Совсем даже пустяки. И потом как-то расстались, не вспомнить как. Ася вдруг побежала. И он ее не провожал... Тут опять начиналась пропасть. Он не стал задумываться над ней.

Он шел домой медленно, не думая. Вспомнив сад, забыв пропасть, снова один, он опять стал сам себе неощутим, растворен – шел ли, плыл, парил, что ли, – и так в бездумье, какой-то одинаковый со снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он очутился на своей улице. Справа был его дом, слева – Ботанический сад. Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвращаться домой, то же предчувствие непоправимого снова надвинулось на него – заставляло его сжиматься, не хотеть идти, да и было еще рано. Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч... все было другим.

“А что произошло дома? – подумал он. – За эти тыщи лет?”

Все как прежде... Старики выпили по две рюмки, порозовели, повспоминали, оживились было. И устали. Устали и разошлись. И теперь спят.

И праздник прошел, как в прошлом году и как десять лет назад. Праздник – в прошлом. Устои...

“А что, если они обнаружили?..” – снова подумал он и поспешно отогнал эту мысль.

Он представил себе заспанную тетку, или бессонного Трефилова, или маму, открывающих ему дверь, укоризненный взгляд... И даже представления об этом взгляде не мог вынести.

“Лучше спать на улице!..” – подумал он сердито и радостно. И он перелез через ограду – это место он помнил с детства: дерево низко наклонилось к земле и год за годом все падало и продавило ограду – перелезть тут не стоило труда.

В саду он не боялся истоптать снег, а шел, как на лыжах, оставляя длинный непрерывный след – две колеи. Он соскребал снег местами до земли, и след чернел. Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое сверху. Он передумал всякое, это представлялось ему

даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скирда, или стог, или копна – как там называется... Он попытался забраться наверх, запыхался, снег таял в рукавах и за шиворотом – это было глупо: даже пытаться забраться вверх по отвесному селу. Он обошел кругом и в одном месте обнаружил как бы выступ, площадку – сено оползло с одного бока. Площадка была невысоко, и на нее он сумел забраться. Там было много снега, и пока он раскидал его, почувствовал, что промокли ноги и рукава, но было тепло, разве что не таяло. Разворошив снег, он очистился сам и стал закапываться в сено. Этот необыкновенный запах сена, который он разбередил, разбудил среди зимы, и запах снега, и запах мокрых варежек!.. Он вспомнил этот запах, хотя никогда в своей жизни даже не был в деревне и на сене никогда не спал. Он вспомнил, вернее, ощутил – ощущение было безусловным и точным, – что уже было так когда-то: и этот стог, и зима, и такие же стояли деревья, и он, маленький мальчик с незнакомым лицом... Это было словно бы в детстве, но не в этом, а в другом – в одной из его прошлых жизней. Он был тогда не собой теперешним, а другим, совсем другим человеком. И тогда это было с ним, этот запах... в той, другой жизни. Он улегся наконец, стал натягивать на себя сено, вытаскивая по бокам пучки и уже засыпая... Некоторое время он лежал так на спине и глядел вверх: там были ветви дерева, и ветви другого дерева, и между ними, белыми, – пространство; потом достал платок, его было неудобно доставать, “одеяло” его распадалось, он даже сердился, но платок он достал, накрыл им лицо и на ощупь позакидал себя еще сеном.

Ему показалось, что он только и успел, что закрыть глаза, и сразу провалился куда-то, отчего и очнулся в испуге, только закрыл и открыл глаза, как моргнул. Он ничего не видел и не понимал, ему было душно, влажно, что-то навалилось на него, пока он закрывал глаза, а теперь, когда открыл, не исчезло, не пропадало, как полагается сну. Он не ощущал своего тела, лица, рук. Он вскрикнул, слабо получилось, негромко – судорожно вздернул руку, словно был в неуверенности, подчинится ли рука ему, и смахнул с лица то, от чего было душно и жутко... платок. Он увидел перед собой белое небо, все в ветвях больших деревьев, и в этом белом небе, прямо над ним, летела огромная черная ворона, замещающая собой белое небо, летела и кричала, будто повторяла его собственный вскрик, летела, все летела и кричала резко, пронзительно и тревожно.

### *Первого января*

Ася тогда сказала, в саду, что завтра они поедут за город. Ей так тогда захотелось за город, глядя на деревья. И поедут они в Сестрорецк, у нее там подруга живет, подруга много старше, но прекрасный человек. Она Асю сколько раз звала, а та все никак не могла собраться. А завтра они поедут точно. На лыжах или так погуляют, а вечером еще немножко встретят, с подругой. У нее целая квартира...

Алексей проснулся поздно. То ли был вообще темный день, то ли было так поздно, что уже темнело, – не разобрать. Шевелиться не хотелось – так и лежал, как проснулся. То прекрасное, что было вчера, сразу вспомнилось ему, но как-то потеряло свою остроту, было как бы очень давно. Так же трудно вспомнить, как сон, подумал Алексей. Ему и хотелось вспомнить это так же остро, как это было, но не удавалось. Он только все больше просыпался. Лежа в этой полутемной комнате, он вдруг почувствовал, как истекает время, он вот лежит, не шевелится, а оно истекает, не останавливается. Это не было страшно, такое ощущение, – просто тупая неизбежность, порядок вещей, так есть. Но то, что то же время унесло вчерашний день, было нелепо. И он вдруг вспомнил, что тогда, в саду, в нем проклевывалось и даже отвлекало (но он тогда отгонял) чувство, что не только вот он живет самой полной жизнью, какой когда-либо жил, но и время все уносит от него эту жизнь. Так он точно не думал, но какое-то подобное ощущение было. И правильно делал, подумал он, что гнал. Это уже не жизнь, такое ощущение...

И когда он вспомнил это, то вспомнил и то, что они сегодня должны ехать за город. А ведь уже поздно, темно, как вечером... Может, Ася уже звонила? Может, поехала одна? Тогда он вспомнил, и это было удивительно резко, словно только что увидено...

Он услышал памятью крик вороны и увидел как бы с ее полета вершины деревьев и себя, лежащего в стогу, неподвижного, лицом вверх, раскинув руки, где-то глубоко внизу, и белый платок в одной руке. Это разбудило его совсем.

Он сразу сел на кровати, и это отдалось болью во всем теле. Болело совершенно все.

Сначала надо было узнать, сколько времени. Прошлепал по комнате – удивительно все-таки все болело! – часы показывали полседьмого, стояли. Поспешно одеваясь, он представлял, как все уже давно встали и бродят по коридору из комнат в кухню, но никого в коридоре не встретил, и вообще было подозрительно тихо. По телефону набрал время – и чертыхнулся: не слишком поздно – слишком рано было, всего полдесятого, потому и темно. Но то, что Ася еще спит и, конечно, не звонила, его успокоило.

“Как же я так мало спал?” – удивился он.

Спать тем не менее не хотелось. Он попытался хоть немного размять деревянное, нывшее тело; принял душ. Было всего десять часов, и те же тишина и темнота по всей квартире. Он нырнул обратно в постель, устроился с “Моби Диком”. Это была замечательная книга. Все, что он читал, было так осязаемо, просто и точно; в то же время так немучительно, так легко и умно, а прочел он не более ста страниц от начала, все так медленно, но не нудно разворачивалось, собственно, ничего еще и не развернулось, – он наслаждался книгой. Он как раз читал, как два внезапно обретенных друга лежат ночью в одной постели, не спят и задушевно беседуют, и прочел дальше:

“Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничто не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно – всему вашему телу с ног до головы, и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; теплая спальня – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения – не иметь между собой и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира – с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла”.

Тут Алексей вскочил, открыл окно, и снова нырнул в постель, и устроился в ней сидеть, подтянув колени к носу, так сидел и больше “Моби Дика” не читал.

В таком положении он курил, и для полноты образа надо было еще что-то такое умное подумать, думать же у него сейчас не получалось, но все равно было хорошо. Потом и кое-какая дрема приходила к нему, он закрывал глаза, а потом открывал, чувствовал, как тепло ему всему, а нос стыл, и действительно все это вместе было не так уж плохо, и он снова закрывал глаза.

– Черт знает что! Черт знает что! – Мама захлопывала окно. – Что ты еще учинил?

– Единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла, – сказал Алексей. Он давно так легко не открывал глаза, это было радостно – открыть их и сразу ясно увидеть мир. Это было каникулярное детство, это был очевидный праздник.

– Ты не простудился? – уже справившись с окном, говорила мама. – Зачем ты это устроил? Выстудил всю квартиру...

– Теплая постель, – сказал Алексей, – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами.

– Что за чепуху ты несешь, Алеша...

– Все в порядке, мама. С Новым годом!

Квартира оживала. Притихшие после праздника, на кухне появлялись и тетка и Трефилов. Завтракали в кухне роскошными остатками. “Остатки сладки”, – приговаривали они. Света по какому-то общему ощущению нигде не зажигали, а так и шевелились медленно и сонно в сумраке; день был темный и незаметно переходил в вечер. Ася же не звонила. “Должна бы уже и проснуться”, – думал Алексей. Но она не звонила. Он уже выслушал рассказы родственников о вчерашнем празднике и сам рассказал, как было: мол, весело и хорошо. Перечислил по маминому настоянию всех ребят, что с ним были, рассказал, какие у них были девушки и что ели и пили. Трудность заключалась в одном: запомнить, что он рассказал, чтобы после не путаться. Кажется, запомнил. Он уже ругал себя, как всегда, что не пошел к Асе без звонка, но вскоре понял, что идти было бы нелепо: неизвестно, что там после вчерашнего за обстановкой.

Ася позвонила в четвертом часу. “Никуда мы, конечно, так поздно не поедem”, – думал Алексей.

– Ну, мы едем или не едем? – сказала Ася. Она была весела, возбуждена и очень хотела ехать.

Они встретились на перроне. Ася была закутанная, замотанная и какая-то новая.

– Вот брюки у Нинки стащила! – говорила она и смеялась. – Идут?

– Идут, – говорил Алексей и тоже смеялся. – А как там обстановочка?

– Да никак. А ты знаешь, что они следом за нами тоже ушли?

– Не-ет.

– Мы могли бы вернуться.

Потом они вспомнили и представляли все в лицах. И Нинку, и ее подруг, и даже себя. И очень смеялись.

Потом ехали в электричке. За окном было совсем темно. В нем можно было уже отражаться. Они и отражались, Алексей и Ася. Никого, кроме них, в вагоне не было. Пока они еще ехали по городу, были видны огни фонарей и окон домов и еще такие синенькие и красные огоньки по путям, таинственные и веселые. Радиоузел заиграл какой-то замызганный вальс. А вагон, ярко освещенный изнутри, нес в стеклах и словно бы за ними отражения самого себя – своих скамеек, плафонов и пассажиров, так что там было еще по призрачному вагону слева и справа, и отражение Алексея с Асей тоже существовало отдельной жизнью в призрачном вагоне сбоку поезда. Играли вальс, поезд делал поворот, разворачивались и проносились городские огни, и Алексею показалось, что их вагон, и они сами, и призрачные вагоны с отражениями его и Аси, и фонари, и окна домов – все это вместе танцует под замызганный медленный вальс: разворачивается, покачивается, удаляется.

А когда выехали из города, то в окнах не осталось ничего, кроме отражения, – черно до самой станции, где свет, платформа, один или двое ожидающих – и снова темно. Вчерашний день сказывался, все сладко ныло, они дремали, Ася на его плече, говорили мало. Но было хорошо, и ехать бы так долго.

Когда они приехали, то даже не хотелось выходить, терять надреманное тепло. А когда вышли, и начавшийся к вечеру морозец обхватил их, и они вдохнули чистый, негородской воздух, то обрадовались, вся вялость ушла, что вот все-таки молодцы, что выбрались, и как же они без загорода живут месяцами, другое ведь дело!..

Но подруги не оказалось, она уехала в город. Суеты же в них сегодня не могло быть, и поэтому они даже не огорчились, а поехали – это Алексей сообразил – в Лисий Нос, там жил приятель Алексея. Но и приятеля не оказалось. Но они опять же не огорчились, а побродили, выпили свою бутылку на скамейке у залива, под большой сосной. Залива в ночи видно не

было, там был провал, но они подышали заливом и потихоньку двинулись к электричке. В вагоне их совсем разморило, и они проспали до самого Ленинграда. И расстались, Алексей даже провожать не пошел – время позднее, а завтра рано вставать.

У самого дома Алексей опять замешкался, вдруг совершенно точно показалось, что дома что-то случилось за это время, пока его не было, что теперь уже там *знают*; что́ знают – он не позволил себе произнести даже мысленно.

Дома оказалось, что из Ташкента приехал отец.

### *Второго января*

В этот день ему везло. Дело, возможно, было в том, что суета, которая исчезла в нем на Новый год, все не появлялась. Ему как-то безразлично было, удастся ли то или иное школярское его дело, и все складывалось как-то само собой и как нельзя лучше. Да и институт был сегодня не суетный, малолюдный, полутемный. Никто никуда не спешил, и те, кто вынужден был сегодня появиться, словно бы еще не растеряли праздника, жили тихо. С самого начала оказалось, что пришел он кстати и к самому моменту, когда опять начали переписывать контрольную. Народу было совсем немного, и преподаватель был всего один, та самая Большинцова, красивая женщина. Все было не так торжественно, Большинцова без конца выходила, а Алексей, не спеша и будто не трудясь, даже не заметив, как это у него получилось, все не то списал, не то сам решил. Вышло чисто.

После этого ему уж все удалось. То есть, куда бы он ни приходил, там оказывался именно тот, кто ему был нужен, все эти ученические заторы и заторчики разрешались быстро и как бы сами собой. Он все уладил и достал какие-то конспекты, которые так нужны ему были. Все так шло, и, когда вдруг что-то, совсем уже мелочь, сорвалось, кого-то там не было, что ли, или только что вышел, он понял, что грех дальше испытывать судьбу, на сегодня хватит, а за первой неудачей может, как всегда, последовать следующая и следующая, и начнется отвратительная такая цепочка, и это уж факт, не стоит портить день... И, не потерпев поражения, храня в себе поразительную сегодняшнюю легкость удачи, он покинул институт.

И все дальше было, будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость, он всегда чувствовал особое к себе пристрастие того демона, что этим законом ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла. А тут подходили автобусы, и он подходил тут же, а автобус оказывался как раз тот. И в кармане у него оказалось пять копеек, и он не страдал с кассой и сдачей, и место было у окна. “Все уж как начнется, так и пойдет, пойдет!.. – славно думал Алексей. – Только надо все время чувствовать и самому не обрывать”. Что надо чувствовать и что не обрывать, спроси его, он и не сказал бы.

Съездил на всякий случай к Асе, но ее не было дома, как она и предупреждала вчера: ей надо было на Лесной насчет работы. Поэтому он только убедился, что ее нет, но не расстроился, то есть настроения не растерял, а, наоборот, необычайно удачно сразу попал в кино, и сразу начиналось, и картина его не огорчила.

Уже стемнело, когда он поднимался к себе по лестнице, с легким сердцем входил домой. Судя по вешалке, все уже пришли с работы, но и это не удручило. Сегодня был тот редкий день, когда он мог рассчитывать на теплоту и равноправие, стоит только ему тем бодрым голосом, который у него сегодня будет без тени лжи, рассказать маме о своих успехах и добавить живых подробностей. Не надо будет видеть каменных, напряженных лиц, суровых молчаний, все будет естественно наконец – патриархальная картина.

Так надо было на обычное мамино нейтральное “ну, как?” все сразу изложить, и тогда она отгадет.

Раздевшись, он прямо прошел в мамину комнату. Здесь было темно, и только зеленела линза телевизора.

И край сухих голов  
Забыл произрастанье... —

с чувством читал зеленый строгий человек.

У телевизора сидели две темные тени, папа и мама, и Алексей сказал им голосом хорошо потрудившегося человека:

– Здравствуйте!

– Здравствуй, Алеша, – тихо ответили родители.

Он присел на свободный стул. Так сразу начать об институте было бы неестественно, тут надо было выдержать, потому что всегда он говорит об институте как бы неохотно, через силу, потому что, как правило, приходится темнить, а это все-таки неприятно, так вот и сегодня надо было показать, что это только манера у него такая и не зависит от того, как успехи, – просто не любит об институте говорить, и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор.

Бормотанье, прозябанье  
и нелепая дыра...

– Что это он читает? – все еще бодрым голосом спросил Алексей.

Мама прикрутила ручку, но совсем не выключила: исчез звук, но изображение осталось.

– Нам надо с тобой поговорить, Алеша, – сказала она ровным и тихим голосом. Папа потупился.

“Все. Это конец”, – сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло.

Мама говорила. Наверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит – не происходит, снится – не снится. Все расплывалось перед ним, как сырая промокашка... И этот неопределенный разрыв, ворсинки его – от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый, человек плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, искажился и заплывал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось; это можно было уже проделывать, как фокус, – и удалилось. В аквариуме плавали уродливые человеко-рыбы. Разевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом... Алексею показалось, что все они – странное такое семейство – погрузились в какую-то влагу и там шевелятся и существуют, на дне комнаты-банки. В аквариуме линзы заплывали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось: какое-то существо медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же, отделилось от верхнего края и, разевая рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилось на дно – там скрылось. И опять точно такое же, сначала ноги и позже голова, выплыло, погружаясь в центр аквариума. Алексей изменял положение головы: существа начинали кривляться, уродовались, ломались... Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. “Понял? – услышал Алексей. – Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?” – “Да”, – хотел выговорить он и, как в страшном сне, почему-то не мог: раскрыл только рот, тот с трудом разлился, сухой, и что-то в нем скрипнуло. Мама сделала отцу знак, и отец, легко и не глядя в

сторону Алексея, как бы и не прошел, медленно проплыл комнату, там, в темноте, порылся, будто в иле, и приплыл, держа три зеленые бумажки.

Алексей уже ничего не осознавал. Был он словно выключен, мертв. В голове легко и высоко звенело. Ему казалось, что он не ходит, а летает. А что вообще всего того, что есть, нет на самом деле. Какою-то даже легкостью ощущал он.

...Теткина комната показалась ему с телевизор. Из-под зеленой фарфоровой тарелки белый свет ложился только в центр исчезавшего в темноте стола, на бумаги. Тетка обратилась к Алексею лицом и как-то отъехала вместе с креслом от стола в тень. Звук отодвигаемого кресла Алексей не услышал, словно бы тетка на кресле была дверцей шкафа, и дверца раскрылась. Лицо у тетки было ярко-зеленое от абажура, испуганное, и она как-то сжалась.

– Вот, я у вас украл, – говорил Алексей мерным голосом, – вот.

Он клал ей на стол две зеленые бумажки. Теткино лицо искривлялось, по нему побежала рябь, и жалобно, тонко она проговорила:

– Ну что ты... что ты! Да ты садись!.. Посиди...

...У Трефилова были зажжены абсолютно все лампы вплоть до ночника, а сам он стоял лицом в черное окно и курил.

– Вот... – начал Алексей.

– Положи на стол, – прервал его Трефилов, не оборачиваясь. Алексей увидел, как уши и шея Трефилова стали бурными от крови, и тут же они, и уши и шея, исчезли в бешеных клубках дыма.

У себя в комнате он не зажигал света. Надо было как можно плотнее закрыть дверь. Стараясь неслышно, он брался обеими руками за ручку и тянул, сначала слегка, потом все сильнее и изо всех сил, даже упирался ногой в косяк, пока не затрещала ручка. Замков ведь в квартире не было...

В темноте же он медленно разделся, старательно раскладывая одежду по стулу, чего обычно не делал. Сейчас, стоя босиком на полу, он подносил брюки к самым глазам – отыскивал складку, аккуратно вывешивал их на спинку. Ботинки – пятки вместе, носки врозь – поставил чуть ближе к ногам кровати, а не посередине. И лег.

Он лежал, сгруппировавшись, как в сальто, дышал в колени, пытаясь согреться. И вдруг не то что комната, не такая уж большая, но даже кровать показалась ему огромной. “Какие мы все маленькие, – повторял он про себя. – Какие мы все ма-ленькие...” – “Как ты смешно говоришь «маленький»! – смеялась Ася. – Майенький... Милый мой!” – “В-вот! Вот!!!” – говорил Алексей и швырял деньги пачками, п-пачками!!! Они разлетались веером и медленно, как стая маятников, туда-сюда каждый листок, опускались и, вздрогнув, ложились на пол, а он все швырял, швырял их к ногам. К их ногам... Они стояли, жалкие, понурые, такие старые... Ему становилось вдруг их мучительно, до слез жалко – и он прощал их, ОН прощал их.

Ему представлялось, что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий всего мира, и он – главное действующее лицо. Будто он принц на самом деле, будущий властитель всей земли. Все это знают о нем, и все молчат и продолжают разыгрывать этот спектакль для него. Словно бы надо воспитать его в неведении в этом спектакле и потом, в какой-то момент, объявить ему, кто же он на самом деле. Это далекий финал, немая сцена – и все оказываются твоими слугами, подчиненными... И так далеко зашли их рабство и покорность ему, их властителю, что они сделали невозможное – ничем не выдали себя, выдержали чудовищный спектакль, целую свою жизнь. В этом представлении больше всего удивляло его, как же они выдерживают. Ведь и прохожие и незнакомые ходят мимо и узнают его, но не перешептываются, не показывают вида; будто они *действительно* не знают его.

Неестественность и громоздкость этого надуманного спектакля, где целые материки, страны и народы существуют всего лишь как декорации на таком далеком краю сцены, что их

никто и не видит из главных действующих лиц, и только для того, чтобы в какой-то момент многолетнего спектакля быть вскользь упомянутыми, что они есть и существуют где-то, в одной из реплик 1001-го персонажа, – показались ему странными и жуткими. Перевернутость жизни, где он, властитель, больше всех не властен и каждый может унижить его, не боясь расплаты, ибо единственный закон для них – это следование роли... такая уж перевернутость, где даже преданность ему должна быть выражена неумолимо сыгранной жестокостью к нему же, казалась нелепой, почти смешной. А то, что актеры знают и другую жизнь, кроме спектакля, и только он, один-одинокий он, должен существовать в этом спектакле как в жизни, было несправедливо. Потому что он ведь разгадал обман... Безумное одиночество, обмануть, единственность в мире сладко ныли в Алексее. И он уже всех жалел...

И родители, бедняги, просто им поручили главные роли; они лучше других подходили к уже написанной кем-то заранее пьесе, инструменты всего лишь. Им всех хуже, им больше других приходится работать, даже времени не остается пожить в настоящем, нетеатральном... Такова чудовищная подлинность, достигнутая в этой постановке, где они должны и страдать, и болеть, и голодать, и умирать уже по-настоящему, потому лишь, что все это должен знать и пережить их будущий властитель. Какой дьявольский труд! Они, наверно, сходят понемногу с ума и под занавес уже принимают спектакль за подлинную жизнь, любят и не хотят расстаться с театром так, будто он настоящий мир и настоящая жизнь.

Но конец пьесы суров, его нельзя нарушить, конец приходит, и тогда ему сообщают все то, что раньше скрывали, он становится властителем, а они старики, вошедшие в роль до сумасшествия, не знают, что же им делать, когда роль окончена. Он жалеет, даже любит их и приближает к себе; все-таки они по необходимости бывали жестоки, а на самом деле они любили, тщательно скрывая, боясь гнева неведомого ему постановщика, и все-таки иногда даже нарушали текст... Ася же, ее, наверно, ожидает казнь, так она выдает ту настоящую жизнь, что за спектаклем... Поэтому-то так резко и мучительно срывается она временами, потому что все время не дается ей жестокая по пьесе роль, все забывает она роль и приносит с собой ту настоящую жизнь, что запрещена ему. Ей, пожалуй, очень достается за это на репетициях. Ее и терпят только потому, что никак не заменить ее кем-либо. А может, она и не отступает от роли, может, у нее такая и есть роль, последняя перед завершением и открытием ему всех тайн другой жизни, такая, как бы подготовительная к финальной сцене роль?..

А может, никакой он не принц, а самый несчастный человек – подопытный в огромном эксперименте? Может, хотят узнать, как будет с человеком (центральным персонажем), если всю жизнь свою проведет он в нелепом спектакле, где все знают назубок свои роли и никогда не сойдутся, и только он без роли живет, принимая спектакль за жизнь, и живет для себя, “взаправду”, и не знает, что играет для кого-то, кто сличает его действия с уже написанной ролью? И вся пьеса написана, все продумано с нечеловеческой способностью, чтобы получить от него всегда единственную реакцию и никакую другую, какого сложного построения это бы ни потребовало?

А если так, то этот опыт уже провалился. Потому что он, несчастный подопытный кролик, все-таки понял, как ни пытались его обмануть... понял, что, кроме спектакля, есть другая жизнь, главная и живая...

...Так Алексей воображал себе. Он уже согрелся и покойно вытянулся. Словно бы растаял жуткий комок, что был у него под сердцем, и тогда Алексей смог выпрямиться. Так он отходил понемногу и еще что-то воображал. Потом и это прошло. Голова стала свободной, но уснуть он не мог. И он уснул.

Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он и проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что.

Он ступал босыми ногами, пол был прохладен, это было приятно. Подходил к окну и отворял его. Воздух со снегом попадал ему на грудь и лицо – Алексей переминался у окна.

Видел тот же фонарь, болтавшийся под крышей склада, но часового не было. Алексей постоял, дыша и глядя, но не насиловал себя: постоял, пока это было приятно, а когда стало зябко, окно закрыл. После этого он включил лампу и стоял перед книгами, не зная, что выбрать. Какая-то книга была нужна ему сейчас, и он шарил по корешкам, какая. Вдруг вспомнил о книге, которую читал лет в девять-десять и с тех пор не читал. Все эти годы он и не вспоминал о ней, но сейчас вспомнил то странное ощущение от книги... Он вдруг стал уверен, что это ощущение сейчас необходимо ему. Удивляясь, что забыл на много лет и именно сегодня вспомнил, он рылся за книгами – она могла быть только там, потому что он не видел ее в первых рядах. Он рылся и вспоминал про книгу. Что в ней и о чем она, переплет ее, и страницы, и шрифт. Он вспомнил, что извлек ее из уборной, кто-то ее туда выбросил, и читал с таким неведомым пристрастием, тщательно, дословно, хотя ничего не понимал в ней. Но это непонимание было, он это помнил до сих пор, какого-то особого, притягательного свойства. И так, роясь за книгами, он вдруг нашел ее, сдул пыль, хлопнул ей по бокам так, что из нее вылетел шар пыли. Понял, что стынет, побежал к постели, с возней забрался под одеяло, с наслаждением, после еще большего холода простынь, с наслаждением и медленно согреваясь.

Оттаяв, он с любопытством раскрыл книгу, но внешний осмотр никак его не удовлетворил. Первых восемнадцати страниц вообще не было, последняя была девяносто шестая, но это не был конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая. Он вспомнил, что внизу иногда бывает, через определенное число страниц, фамилия автора или название произведения. Но и этого он не обнаружил, а обнаружил, что и еще вырваны страницы: 33-я и 34-я, 49-я и 50-я, 65-я и 66-я, 81-я и 82-я. Единственно, что понял он, – что книжка напечатана без ятей, следовательно, книга не старинная, хотя и старая. После такого осмотра он уже почти с исследовательским интересом стал читать.

Но – мало что понимал. То есть ловил себя на том, что уже прочел три, допустим, страницы, а ничего не запомнил, что читал. Проскользил взглядом по каждому известному вроде в отдельности слову, а что сказано ими всеми, от него ускользнуло. Так, начав с 19-й страницы, он запомнил самую первую строчку: "...которые никогда ничего не объяснят нам в жизни". И лишь через три страницы еще фраза остановила его: "И если мы опять заговорим о Боге, то не пойдем друг друга", – остановила лишь потому, что была последней для этих трех страниц, после нее следовал пробел и заголовок "Письмо второе". Он рассердился на себя за то, что, прочитав, не уловил смысла. Такое могло случиться над учебником, когда задумаешься или вообразишь себе что-то, в то же время продолжая читать, но здесь он же и не думал ни о чем и читал легко, почти с увлечением...

Он вернулся к началу, но понял едва ли больше. "Я старый человек и не имею права на слабость юности..." – кусочек фразы хоть и застрял в его голове, но не более как хоть какая-то информация об авторе, то есть что он старый. Возбужденность от находки и детских воспоминаний стала падать, а настойчивость пропадать. Представление, вначале тешившее его, что вот тогда он ничего не понимал, а сейчас, поживший, так сказать, и умудренный, все поймет, обернулось досадой: казалось, в детстве он понимал больше.

"Письмо второе" было бесконечным, и он от фразы "Так на чем же остановиться, выбирая?" скользил, легко читая, почти что просто переворачивая страницы, и даже не заметил, что с 32-й перешел сразу на 35-ю – потери смысла в этом не уловил. Им овладело нетерпение, когда же это бесконечное письмо кончится.

Поэтому "Письмо четвертое" он читал с каким-то даже подъемом. "Но если вы уж настолько не верите, я готов доказывать на пальцах..." – начиналось оно.

Хотя и на пальцах, Алексей и тут не все понимал. Это было так: то все туман, туман, то разрыв и краешек неба. Это была не та, не нынешняя речь. Но он уже что-то ощущал в ней и запоминал ощущение. Получалось нечто вроде перевода на его, Алексея, язык, перевода с адаптацией. За исключением полных по непонятности провалов, в этой главе говорилось о том,

что любовь в нас и выше нас, и если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если любишь, то что же это такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял – это было действительно как “на пальцах” – они были отдельны от любви. Про жалость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жалость, а потом все-таки ниже, во всяком случае, любовь и жалость оказались тоже разные вещи. Больше всего заинтересовало Алексея рассуждение о ревности.

Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположна любви. Вот мне кажется, что я люблю, говорил этот странный автор. Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод, визнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права... И если я уж так теряю лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи. Потому что ложь – это именно то, чего хочу я в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я ни ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и в естестве своем никогда не идут на это крушение. И тут – “даже в безверии пребывает любовь, как вера”. “Это верно, – думал Алексей. – Со мной тоже так было в начале знакомства с Асей. Но потом я понял, что не следует задавать вопросов. Сам понял. А то бы не осталось теперь у нас ничего”. Стал читать дальше – все путалось: про Бога да про Бога!.. И вдруг связь восстановилась. “Что такое гибель и крушение в любви для таких людей? – спрашивал автор. – Самоубийство и убийство?” Это трагедия все-таки заданного последнего вопроса: как ни избегал его человек, но он всплывал с неумолимостью, и вот он задан – и все рухнуло, не справился человек. И задавать-то этот вопрос было бессмысленно: человек все знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ним и свою любовь?.. Опять пошло про Бога, и Алексей проскользил целую страницу. И вдруг: “Господи! Какие мы все маленькие!” – воскликнул странный автор. “Это так! Это так!” – радовался Алексей. Мы же не вмещаем в себя ничего, говорил автор. А если уж приходит любовь, то не остается и этого ничего. Есть любящие, и есть любимые. Это не касты. Просто каждый кем-нибудь любим, а кого-нибудь любит. И тогда каждый для кого-нибудь благороден и для кого-нибудь подл, для кого-то мягок и к кому-то жесток, для кого-нибудь ничтожен, каждый кому-то лжет, а кому-то говорит правду и т. д. И все это “от малого помещения нашей души”. Все это с тем человеком, который “не верит, но еще чудом не мертв, а жив”. И такому я скажу: да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе? Ведь не от любимой же, она же еще меньше, нет же исключительности такой, единственности в ней самой-то нет – это ты привнес. Ну а если ты согласишься, что это не от нее, что просто был ты готов к любви – и она возникла, она была неизбежна, любовь, но случайна была та, которую ты полюбил, если такой ход мысли тебе ясен, то давай пойдем: из тебя ли исходит это? А ведь и не из тебя. Ты-то ведь тоже крохотный: вот как в тебе ничего не осталось, когда пришла любовь... Ты и жесток, и подл становишься, хотя и сам, может, не замечаешь, ко многим другим, до любви тебя окружавшим. То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоём крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое? Так что и не из тебя.

Дальше все сбилось, закрутилось... Оказывается, и то, о чем писалось, – это еще и не любовь вовсе. Это только чтобы на понятном для людей в безверии языке сказать это все на пальцах... А если говорить всерьез, то. .... это все было мимо, мимо.

Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница.

...Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял, про Бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и

крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? – очень поразило его.

## Жизнь в ветреную погоду

*Александру Кушнеру*

Наконец они переехали.

Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще не достроенная, уже начала ветшать, сруб, так и не обшитый, почернел еще больше, и вся она, так нелепо и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, выросла и впервые понравилась ему.

Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и так же аккуратно разлиновал пол.

– Сережа, если я вам больше не нужен, то я поеду... – неуверенно сказал отец, и по его тону Сергей понял, что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. – Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин...

– Конечно, поезжай, – сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. – Спасибо, что перевез.

Провожая отца до машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой “декавешке”, которая никогда не станет личной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом, наступало как бы равновесие.

Машина наконец завелась, и отец уехал.

Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах: раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом, – и что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которой мы не в силах сдерживать.

Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным, что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забот у нее даже прибавилось. У него же оказалось так много времени, что трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для него действительно переселением: изменились все параметры его существования, и время в первую очередь. Слоняясь, он включал приемник: диктор объявлял программу передач, и та тщательность, с которой он называл время, вызвала у Сергея усмешку. Он взглянул на часы – они стояли. “Московское время ноль часов, ноль минут, ноль секунд”, – сказал Сергей.

Изменились и расстояния. Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей, – в своих передвижениях он уже полностью зависел от себя, и расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком. В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта – хотел ехать, хотел не ехать, выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послонявшись по дому и затопив жене плитку, он вышел прогуляться и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин, и, когда опять очутился дома, было по-прежнему рано: в городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. “Ну что ж, можно наконец начать работать...” – неуверенно сказал он и с необыкновенным тщанием,

не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место.

Он выбрал второй, не достроенный еще этаж и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем, его необходимо переплыть, а плавать он словно бы разучился.

Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего места для работы он не мог себе представить, а работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне крон, и ветки, наверно, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики; ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже не было слышно.

Так он сидел, неприязненно думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрещало, закрипело, казалось, тронется сейчас, ныряя, парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно; с ними налетел совсем уж шквал; листва деревьев, закрывавшая окна, вывернулась наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж, и тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер, – замелькали, проносясь в окнах, деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами, можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, свай, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнялось от непогоды его обиталище, и ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, и шлак под ногами, и паутина повсюду, и кучки запыленного мусора – все это казалось единственным решением.

Ветер вдруг спал, исчезло мелькание листвы за окнами, и по крыше загредел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было – была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми – это он называл про себя – сводами, тогда все его помещение обозначилось как собор, что уже совсем соединилось с представлением органа... Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а брэнчала под ударами ливня крыша; ливень оказался крупным градом; подойдя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше драже. Звуки переменялись вокруг него, и, помимо брэнчания шифера над ним, он услышал другие, живые, как бы рвущиеся звуки и, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленные там и сям поржавевшие баночки. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки, уже не первый год стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение этого всего могло оказаться началом его работы, но капли стали попадать ему на стол, на бумаги, хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспособливал стол в разных углах, но и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: “Всегда ты оставляешь все под открытым небом”, – вышел в сад. Но дождь уже кончился, и Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался: как покачиваются разбухшие, нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя, как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно оживая, выгибаться и распрямлять спинку и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением и подставляясь только что выбившемуся и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу.

Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение

времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время.

Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки (какие точно, было и не вспомнить, словно спяну), если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день, суетный и безотчетный, вплоть до “не-совсем-нормальности-вечером”, и только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки, – если в городе все было именно так, то за городом все было иначе.

За городом, в кругу семьи, на солнце, воздухе и воде, он, напротив, внешне успокаивался, молодец, в общем, начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить – специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом.

В то же время он, маявшийся в городе, проклиная суету и до тонкости знавший и любивший обличать всяческие ее оттенки, он, наконец избавившийся от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем, потому что тем, чем он собирался ее заполнить, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь не хотелось. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой, и, следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лень и безделье, обличать, бичевать и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе – и он не думал.

Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал (это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету, это были понимания, находящиеся в прямом родстве), что главное – это просто *жить*, быть живым, и поэтому, какое бы ни было твое состояние – плодотворное, неплодотворное, – лишь бы было *живое*, без омертвений, а успевать... то что ж успевать: все равно неживой ты уже ничего не успеешь.

Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равнение на сына случались и в городе, когда он, засученный и несчастный, после тормозливых встреч и длинных до потери реальности разговоров, внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив: прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только как-то быстро привыкал он: ну да, пришел домой, и тут его сын – ничего удивительного... И начинался обычный сумасшедший вечер.

За городом же то ли видел он больше деревьев и существ – коров и лошадей, телят и жеребят, – то ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе.

Он думал о сыне, и вдруг становились понятны ему вещи, к которым он как-то, не заметив, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность, вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте: радость и наслаждение, например. Иногда, томясь от безделья, вспоминая город, слышал он вдруг какое-нибудь глупое гульканье сына и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице оттого лишь, что они видят и узнают друг друга... Тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако и что-то

удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому и можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарности, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивно и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи: откуда он взялся такой? Живой, и все у него уже есть? И руки, и глаза, и даже уши? И на него, отца, похож?

Знание того, как получаются дети, не расхолаживало его, он отбрасывал это знание как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына – откуда? Нет, если по-настоящему, до конца задуматься, то откуда? Или беспомощность и слабость сына поражали Сергея: что вот убить его ничего не стоит одним пальцем, а жизни в этом тельце заключено! – где только помещается? Удивлялся молодости сына, нежности его кожи – какая же он по сравнению с сыном рухлядь! И требовательность бессилия поражала Сергея: вот ведь сын не сомневается, что ему что-то нужно, ему просто нужно, он хочет, и все подчиняются ему и подвластны, и лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей: на самом деле родители от него зависят, подчиняются и исполняют, служат ему.

Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко, и их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников кувыркались на сене; вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И может, оттого, что так медленно, Сергей внимал и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее, материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник, или куст, или щепку в дорожной пыли... И вдруг сын пришел в необычное возбуждение и, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что видел перед собой, он сказал все слова, что знал: “мама, папа, тапок, фу и всё”. “Всё, всё, всё!” – радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебежала им дорогу: существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная; она, видно, давно жила на свете и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила, столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее, и, удивляя Сергея постоянством и размеренностью движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания. И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда, и что-то давно забытое и ушедшее вспомнил о себе.

Да, никогда не видел он столько жизни, радости и наслаждения, так совершенно заключенных, так полно, что не плоть, а они казались основными материальными составляющими его существа. И тут Сергей удивлялся еще больше, вдруг обнаруживая в этом его столь радостном лепетанье, в глазах, столь ясных и любовных, и не радость вовсе, а грусть, грусть, заложенную самой природой, ее лицо, одновременное с радостью.

Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру.

Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Тогда он вспоминал о только что проклятом суетном городе как о некоей полной жизни, вне которой он и ничего-то делать не может. Тогда ему (поскольку это противоречило его загородной программе, он не всегда сознавал это конкретно) хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может, и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут и свободы своей он из-за этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал

(и это была почти деятельность) составлять списочки всех этих выплывающих и накапливающихся дел и делишек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывая и совсем уж мелочи. Он переписывал эти списки в различных последовательностях пунктов: то по важности, то по времени, то по удобству маршрутов. Он развивал пункты и делал пометки в скобках; “не забыть спросить”, “не забыть сказать”, “сделать вид, что забыл”. После чего он вспоминал еще одно, чуть ли не самое важное дело, и списочек приходилось переписывать заново, чтобы это дело заняло свой порядковый номер.

Поиграв со списочками, он начинал объяснять жене, как ему необходимо съездить в город. Жена, конечно, говорила, что ему не надо ездить, что мало ему тут отдыха и времени для работы, что все это суета у него. Он сознавал справедливость ее слов, даже узнавал в ее словах свои, и начинал, что совершенно естественно, злиться, и, как ребенок, восставал не против смысла слов, а против логики, путем которой к этим словам пришли; именно она казалась особенно необоснованной, несправедливой и больше всего раздражала. Слово за слово; они немножко ссорились и разбегались кто куда: жена – заниматься хозяйством, он – лежать где-нибудь на солнышке. Однако потом они, как люди любящие и слишком хорошо друг друга знающие, не помнили обид. Никто уже не спорил о поездке в город, просто с какого-то момента об его поездке говорилось как о чем-то само собой разумеющемся, намечался день, жена постепенно вспоминала все новые и новые поручения: что купить, что привезти из дому, – списочек рос и становился уже совершенно невыполним для одного дня пребывания. Это, впрочем, не смущало ни его, ни ее, потому что где-то обоим было ясно, что никаких-то дел нет, просто ему надо съездить в город, еще раз понять, что там все суета и бред, и вернуться удовлетворенным, заряженным, и, может, начать что-нибудь делать.

Так оно и происходило. В городе он успевал выполнить какой-нибудь пункт из списка жены и полтора из своего списка и возвращался бодрый и злой и завтра садился работать. Завтра же он не садился работать, раскачивался. Раскачивание же, для которого внешним толчком был город, все затухало.

Когда все это приобрело устойчивый характер, закономерность с четко повторяющимся циклом, Сергей стал несносен. Если в городе он бывал в спокойствии и равновесии по утрам (именно тогда ему рисовался вчерашний день чем-то смутным, беспамятным и сумасшедшим), то теперь, наоборот, он успокаивался лишь к вечеру, просыпался же после слишком долгого, безвольного сна злым, психом, почти больным – доставалось жене. Это, по-видимому, было замещением работы, которую каждое утро надо было бы и начать. И лишь к вечеру, когда день уходил и можно было спокойно существовать с мыслью, что сегодня начинать что-либо уже не к чему, лучше завтра, утро вечера мудренее, он становился тем самым милым человеком, каким, в сущности, был. Утром же и днем он был настоящая фурия (именно фурия, потому что зол он бывал не по-мужски), все казалось ему злым умыслом, любое ничтожество: то ли носки, то ли бритва, то ли спички, – оказывало сопротивление, куда-то скрывалось, острые углы появлялись там, где их никогда не было, что-то падало, что-то скрипело, комары нападали врасплох всюду, по всем щелям были рассованы мелкие преследования, подвохи, досады, все исподтишка, все вело с ним нелепую партизанскую войну. Все вызывало в нем протест, ненависть, негодование.

К концу дня он уставал от обилия раздражений, воспоминаний, ассоциаций, мыслей, идей. И тогда – тут не хватало только жеста бесшабашности и отчаяния, такого взмаха руки – он выдергивал из грядки идей одну произвольно избранную, обкатывал ее наспех, обсасывал слегка и преподносил за чаем жене, тем более испытывая возбуждение и волнение, что необходимо было хоть как-то избавиться от них. Идея бывала недурна, но ничего не решала: в общем, стоя на довольно высокой ступени, она была с той же лестницы, что и любые досужие разговоры: разговоры соседей, родственников жены или отца. Возникала она, как правило, по внешнему поводу, например политическому: тут можно было обобщать и нападать, гасить творческий пыл, успокаивать себя, чуть затрачивая и еще раз приостанавливаясь на трудном

подъеме к работе и съезжая вниз по круче, чтобы завтра проходить и преодолевать тот же отрезок инерции и подъема, что и вчера и позавчера, может быть, плюсуя по сантиметру, но опять не добираясь до цели. Он брал газету, смотрел в нее, как в пустоту, и говорил, например:

– Не вполне ясно, какой смысл стали вкладывать в слово “формализм”. Я еще понимаю житейское, теперь забытое, “он формалист в вопросах чести”, например. Нечем отдать карточный долг – и пулю в висок. То есть неукоснительное следование неким принципам, правилам, формам, нам предложенным, в нас воспитанным, до нас существовавшим, следование часто даже вопреки здравому смыслу. В этом случае формализм нечто консервативное, давно существующее, устоявшееся до неподвижности. Тогда академизм – формализм высшей степени. В чем-то новом, только возникшем, формализма быть не может – это новая форма. Может быть, формализмом называют неоправданность формы или, как говорят, несоответствие действительности? Но если буквально сравнить искусство с действительностью, то есть сравнить формально, то оно всегда было насквозь условно и никогда не было слепком с нее. Уж не говоря о том, что искусство само – действительность... Ведь даже такая очевидная, например, фраза: “Иван Иванович подумал то-то и то-то”, – это такая уж условность! Почти абстракция. Кто знает, что он там думал!.. Само по себе настоящее искусство никогда не только не стремилось к условности, но вечно болело попыткой избежать ее. Освободиться от пут условности, окостенений, как раз того, что можно назвать формализмом, освободиться и приблизиться к живой правде – вот механизм рождения новых форм. Это просто освобождение от прошлых, тесных или неспособных выразить новое форм, раскрепощение, выход на простор, приближение к живому. Назвать это формализмом – все равно что назвать черное белым.

Идея бывала когда умнее, но когда и глупее, когда точнее, когда еще менее точная, когда своя, когда еще больше не своя, в среднем – такая. Выговорив ее, он постепенно возвращал себе чувство времени и места, расплывчатая во время речи комната как бы фокусировалась, и предметы становились видны отчетливо, с беспокойством вглядывался он в лицо жены и читал на нем одобрение идеи, тогда успокаивался и чувствовал некоторое приятное опустошение, словно бы после действительного дела. На сегодня закрыв эту лавочку, как бы загнав в загон все непослушное стадо своих мыслей, с лязгом сбросив решетку вниз и в последний раз взглянув через плечо на все это крошево, массу, мычащую и блеющую, возвращался он, как бы усталый и удовлетворенный, в свою хижину спать, не вспоминать ни о чем до утра.

Как-то он проснулся, и в тот же миг на него накинута мелкий и злобный его раздробленный мир и вошел в него. Это случилось раньше, чем хоть какой-нибудь конкретный повод дал бы этому основание. Словно эта мелкая злоба стояла в изголовье, дежурила, караулила, ждала, когда он откроет глаза и отворит душу. Ночью она, по-видимому, спала, свернувшись калачиком, рядом с его туфлями, как некое домашнее животное. Сергей почувствовал усталость и отчаяние. “Я поеду в город”, – сказал он. “Когда?” – спросила жена. “Сейчас”.

Они поспорили – спорить с ним в эти дни не стоило, они покричали – начал плакать сын, они перестали разговаривать. Наконец жена захотела побыть одна и Сергей получил разрешение ехать в город с тем непременным условием, что привезет из дому тумбочку, без которой жена как без рук. Разрешение, таким образом, было как бы не разрешением, а приказом привезти тумбочку, и это примирило жену. А Сергей уже весь был в городе, его бы не остановило даже поручение привезти сервант.

Так получилось, что, только он собрался идти на станцию, внезапно приехал отец и привез ту самую тумбочку, о которой речь. Таким образом, с одной стороны, ему не надо было ехать в электричке, всегда такой набитой, с другой стороны, отпадало согласие жены, потому что тумбочка была уже привезена, а нового задания, кроме тумбочки, не успело возникнуть. Жена опять сказала, что нет у него никаких таких уж дел и что вообще надо еще проверить, зачем он так частит в город. Последнее она сказала зря, потому что в этом он был чист и теперь

получил возможность возмутиться и ссориться с полным основанием. Преимущество было на его стороне. Жена проиграла битву.

Уехал он с облегчением. Ссора разрядила его. В груди он ощущал приятную пустоту, последовавшую за спазмой злобы. По корявому проселку они выехали к станции. Сильный ветер гнал по рельсам в город. Машина переваливалась, как утка, и ветер ее обгонял. Он увидел платформу, с которой словно сдуло людей. Только что ушла электричка. Картина была грустной и прохладной, успокаивала. Почему-то он представил себе девушку, стоящую на платформе спиной к ветру, ее фигуру, ветер прижал платье, и пузырь юбки спереди, и волосы, вытянувшиеся вперед. Не жену. Лица ей он так и не подобрал. Девушки такой на самом деле не было, но она вполне могла бы и быть, так что воображение не рисовало ему ничего исключительного. От всей этой картины и от представления девушки на ветру во рту у него появилось какое-то кисло-сладкое ощущение, вполне соответствовавшее всему его грустно-сладостному сейчас чувству, которое он назвал про себя “терпким”.

Он вспомнил ссору уже совсем спокойно. Странно, подумал он, с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего – никого у меня нет. И как бы неуверенно и трудно было мне, если б я был в этот момент не чист. Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если б мне надо было что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, а на самом деле выдавая себя... Вся жизнь с людьми представилась Сергею конструкцией из подозрения и незнания, эта конструкция рисовалась ему какими-то переплетающимися стержнями вроде арматуры или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного – незнаниями, а когда эти нити пересекаются, в узлах... Он запутался, дальше образ не работал. Ведь мы же ничего не знаем друг о друге, продолжал Сергей, даже прожив рядом сто лет, не знаем, только догадываемся, наши умозаключения – здания в воздухе, эти здания... Только кажется, что они о других, эти здания – о себе. Знать-то мы, конечно, знаем. Но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности, все-то мы допытываемся, отсюда и сомнение, из этого механизма – чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать. Ситуации стереотипны и повторяются без конца, каждая из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение, и лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за одного процента мы подозреваем все сто. Если бы мы были циничны циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрение к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это вничью... Он снова вернулся памятью к ссоре и подумал, что жена, в общем, ничего и не подозревала всерьез, что она даже точно знала, что в город он едет просто так. Это она без повода, для оскорбления... Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина?.. Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. А вот если бы действительно что-то у меня там, в городе, было, думал Сергей, уходя в сторону, было бы и она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все ждала бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его, решающего, все не было бы и не было... Бедняга!

Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед, ее перестало качать – они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди, и Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился на гладкой дороге, почувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал:

– А ты замечал, что все животные бегают немножко боком?

– Замечал, – сказал Сергей и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом, то есть чуть-чуть его раздражило это “все животные”, когда не все, а собака

бежала навстречу. Но, поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора, причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже часто ощущал, что отец не может иначе и что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его. Осторожно Сергей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем.

– Сережа... – отцу хотелось поговорить. Но сын молчал, и начинать опять приходилось отцу и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно; пришлось сказать: – Я вот вспомнил вдруг непонятно даже почему...

Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, растрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал:

– Что же ты вспомнил?

– Ты не слышал никогда такую фамилию – Виксель?

– Нет.

– Ну как же... Известный ученый. Член-корреспондент?.. – просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопроса, и отец продолжал: – Мы учились вместе. Тридцать лет его не видел, а третьего дня встретил... Большим человеком стал. – Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына.

“Тридцать третьего...” – пропел про себя сын и остался молчать.

– Так вот... – вздохнув, сказал отец. – Он по связи. Глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение... – Отец сделал таинственное лицо. – Потому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а второй день...

Сергей усмехнулся:

– Это почему же?

– Видишь ли, – оживился отец, – я сам этого не знал, недавно где-то прочел. – Голос отца приобрел плавное, почти лекторское течение. – Видишь ли, в первый день войны будет нанесен основной удар, а потом, собственно, и начнется война, на второй день, и тут... – Отец помялся многозначительно, и потом, словно прорвав плотину, слова потекли с еще большей легкостью и быстротой. – Самое важное и трудное – связь, так как не только армией, но и взводом командовать будет практически затруднительно – и все – связь! – потому что солдат от солдата будет отстоять, быть может, на несколько километров...

– Глупости, папа, – сказал Сергей беззлобно и мягко, сам удивляясь такому своему тону и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньшего, чтобы вспылить и надерзить отцу.

– Почему же? – не то нападая, не то защищаясь, сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное.

– Зачем же, – спокойно и ласково отвечал сын, – эта связь на второй день, когда в первый уже никого не останется?

Это не было похоже на обычный ход таких разговоров – перепалки не возникало, – и отец потерялся.

– Да, если так... – неуверенно согласился он. И замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло.

Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную: работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной и нежной тональности и вовсе не раздражался (что было уже абсолютным исключением из пра-

вил), когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное. А ведь обычно Сергей терпеть не мог некавалифицированных суждений, особенно у родственников и тем более у отца, который из какой-то вывернутой жажды общения говорил эти небезразличные Сергею вещи совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал: зачем отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ, а уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. Главное, отец все это знает, умный ведь человек... И одиночество еще пострашнее становилось Сергею понятно, когда он об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого по-своему сладкое чувство обиды: “А что я такого сказал? Вот никто меня не...” После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту.

Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими происходят лишь из близости и равнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто и легко лишь потому, что – обоснованно или нет – ставишь себя над ними – непонятное превосходство: им прощаешь. Вернее, не замечаешь. А отец им не ровня, вот его прощать надо. Это еще детский атавизм – желание равенства. Равенства тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость – отца от сына, и всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. “И у меня с сыном так же, – думал Сергей, – и у меня...”

Они ехали лесом, и дорога была безветренной, тихой: казалось, теплый летний день, – и вдруг выехали на открытое пространство. Тут были поля, пахоты, раздолбанный проселок мелькнул у косога сарая, и тощая корова покосилась налитым дикостью глазом из кювета, дальше поля обрывались, шли луга и жидкий кустарник, который во все стороны трепал ветер, и больше ничего, даже встречных машин не было. Ветер расчистил горизонт, и странно четко глядел вдали синий лес, высотой с траву. Сергей лениво смотрел в окно и думал, что эта невыразительная пустошь необыкновенно близка и понятна ему. Какое-то ласковое, прохладное, успокоительное чувство поселилось в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил по этому ровному пространству и ему почти не на чем было задержаться. Взгляд был как бы тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея с природой, – две чашки весов, висящих на нити взгляда: он сам и пустошь – на одном уровне, в полном равновесии... И растрепанная ветром трава, и ржавая в траве лужица, и одинокая корявая сосенка на ней – все было мило Сергею. Взгляд все скользил, не цепляясь ни за что – ему было просторно, это было сродни глубокому вздоху. Медленный, неразличимый переход оттенков зеленого, синего, серого, неуловимая, бледная красота пустоши входила в Сергея и наполняла некой грустной радостью, приятным сожалением неясно о чем. Именно эта прохладная красота казалась ему теперь самой подлинной. И еще недавно так не было, подумал он, еще недавно я мог сказать: какое скучное место! И тут он как бы с удивлением вспомнил, что пять минут назад они миновали прекрасный сосновый бор, из тех, что любил писать Шишкин, а Сергей даже не заметил его, как раньше не замечал пустоши. На яркую красоту, подумал Сергей, на то как раз, что обычно подразумевают под красотой, нужно мало опыта и много сил, чтобы воспринимать ее. Он вспомнил резкие цвета юга, так восхищавшие его в свое время – они показались ему неживыми, неподлинными, как бумажные цветы. “Я – северянин, – подумал он почти с гордостью. – Если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру... Непременно весной поеду в тундру!” – сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца.

Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот он сидит за рулем своей собственной машины, нажитой его трудом, хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче: нахальство как вздоржало, подумать только, “Запорожец”, такая-то карафашка, и то... И вот он за рулем

своей машины и рядом с ним сын, кто же скажет, что сын мало успел в свои годы. Я совсем еще мальчишка был в его годы, ни о чем таком не думал, а он такой уже талантливый человек, известен... И видно было, как приятно ему слышать из всей фразы Сергея, обращенной к нему, слово “папа” и как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. “Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», – думал Сергей, – вот и мне это необходимо...” Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына, только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переменялся, но уже думал: что ж поделать, форма разговора у отца такая неудачная, а суть самая прекрасная – любовь.

Так они ехали по ветреному ясному пустырю, и лес синей низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забираться влево, лес стал приближаться, расти, тут и холмы появились, вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят; будка глядела красным окном в сторону заката; рельсы, сходящиеся и исчезающие вдаль за поворотом, рисунком своим напоминали саблю: на острие мог показаться поезд, – и никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой и заметался по траве и кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин... Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением. И Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом, за лесом угадывалось начало пригородов.

Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывшаяся с него картина и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое, бесшумное клубящееся кольцо на тоненьком сером стебельке и раскрывается, как бутон, и медленно ворочается в нем густой, как каша, огонь. Отец и не мог бы этого видеть, был прикован к дороге, тогда сын, голосом, поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого и родился страх, проговорил: “Война, отец”.

Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад, от города, за сыном и женой... Сергей представил себе, как едут и едут они вчетвером по пустым дорогам, все дальше и дальше от мертвого города... Но нет, ударная волна настигла бы их у этого переезда, они не успели бы развернуться. И машина бы полетела, как пылинка, и они в этой пылинке уже и ничего бы не чувствовали... Радиус действия... Разве что успели бы остановиться и выпрыгнуть, упасть лицом вниз в канаву за обочиной. Крутясь в воздухе, вспорхнула бы над ними их “декавешка” или, с неверной легкостью сохраняя ориентацию в пространстве, проплыла бы над ними будка с переезда, и лишь потом вылезли бы они из канавы в странную и пустую тишину, даже при свете рождавшую ощущение темноты уже вечной, уже как бы отсутствие сторон света... Но нет...

Это представление протекло в Сергее мгновенно и спокойно; в разное время оно случалось с ним неоднократно, теперь потеряло остроту, было привычно и не пугало. Оно было мучительно когда-то: тогда, во время продолжительных и не по своей воле разлук, означало гибель всего ему дорогого в далеком родном городе и его пустое и ненужное спасение. Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями, он легко скатывался в нее: удобно не задерживаясь в сознании, в один миг перед ним проходило несколько картинок – и все... Они ехали в той же машине, по той же дороге дальше. Если бы он зафиксировал, остановил это представление в себе, то вряд ли что-либо поразило его в нем, кроме банальности, и самым сильным чувством было бы облегчение того рода, что ничего у нас на лбу не написано, и, по крайней мере, хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них... Но машина уже выезжала из леса,

проскочив его непонятно быстро, потому что по ощущению, возникшему из того, как долго синел он на горизонте и как долго они к нему подъезжали, лес должен был быть значительно бесконечней... А они оказались уже у развилки, около поста ГАИ, и, свернув еще раз налево, стали въезжать в пригород.

Отец, как всегда сжавшись, уничтожившись, миновал ГАИ и, когда красные мотоциклы, пасшиеся у обочины, остались за спиной, воспрянул, выпрямился, стал неестественно молодецват, обругал гаишников и, попав в свою, тоже привычную, совсем уже беззубую от частого употребления лунку, продолжал говорить о них в повышенном тоне, требовавшем сочувствия и осуждения со стороны сына; сын легко и охотно соглашался и поддакивал, благо предмет разговора был ему безразличен. Отец же снова стал благодарен сыну, отец косился уважительным, как бы оценивающим взглядом на сына, словно еще и еще раз с удовольствием отмечая, что его высокая оценка нисколько не завышена, а скорее занижена... Сын видел в зеркало, как поглядывал на него отец, и делал безразличное лицо, важнел.

– Ты уже седеешь... – говорил отец (эта фраза всегда означала окончательный мир и признательность и неведомо почему всегда была приятна сыну).

– Да, – небрежно говорил сын, – уже давно.

И в этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел, с особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место, кого-то заставлял, кого-то не заставлял, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную, и вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели, среди незнакомых людей. За окном было темно, Сергею давно уже пора бы было вернуться на дачу, жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему... Три милые незнакомые девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги; незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавиши магнитофона; еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком – одноклассник, не видел его лет сто и, надо же, сегодня встретил – он бродит по комнате и то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок, то снова зажигает, и все жмурятся растерянно и кажутся неестественно бледными; и единственная бутылка водки выпита; и папиросы кончились... А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске, и никак не стронуться ему с места, хотя давно уже пора ехать на дачу, сидит – словно ждет чего-то. Его тоска стыдновата и сладковата и напоминает что-то – неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко – и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишени – мишенью была обложка немецкого журнала – на обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет: “Дайте мне! Дайте мне!” – и потом все никак не мог отдать следующему: “Еще один выстрел! Еще один!” – “Вот, – смеялся приятель, – так и со мной было... Как достал этот пистолет – так и стреляю с утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто”. – “Отдай мне”, – с детским жаром сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. “Ну, отдай... – не отставал Сергей. – Ну, на время. Я верну... На несколько дней – и я верну... Ты же все равно собирался ко мне на дачу – вот и заберешь...” Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись.

Приехав на дачу, он не показал пистолет жене – лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался им, потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода и прохладу стали, вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. Попал. Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки брэнчали и подпрыгивали, пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку – баночки раскатывались по полу.

Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками. Удивилась. Постреляли вдвоем.

Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше.

Так прошел день.

На следующий день, постреляв еще немного с утра, Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею – не осталось ни одной.

Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду. Снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую вороненую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. Ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. “У каждого мужчины, – вдруг вспомнил он смешные слова их взводного, – есть в плече природная ямка для приклада”. Хмыкнув, Сергей опускал пистолет, ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол – зарядил пистолет без пульки. Снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. “Игрушка, – тупо подумал Сергей, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. – Игрушечный пистолет... И игрушечный мой висок. – Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. – И игрушечный мой стол, – Сергей посмотрел вверх, на крышу. – И игрушечный дом”. Оттуда, сверху, упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх-вниз. “Игрушечный паук”, – сказал Сергей вслух.

Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке, по своему этажу. Он засунул пистолет под кучу тряпья в углу, взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением и тут же совершенно о нем забыл.

К удивлению жены, Сергей вдруг стал тих и ровен. Он бродил по дому в необычайной рассеянности и на вопросы отвечал не сразу, словно приходил на зов издалека. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, а растерянно и виновато улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться. И если он усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать, слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало – так получилось, что все его мучительное безделье вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу.

Когда он наконец сел за стол, была суббота, дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники, на воскресенье. Его уже лихорадило, мысли толпились, отчаиваясь избрать последовательность, он решался наконец, бросался, как в холодную воду, – и тогда оказывалось, что хаоса не было, хаос обращался мощностью, все становилось вызревшим, необходимым и единственным, и он плыл, плыл... когда что-то заставило его взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Он посмотрел на них, не узнавая, словно бы оставаясь для них невидимым, но они его уже видели и махали руками. Когда он услышал внизу всплескивания и восклицания и ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать их: сдержать, не отпустить, – но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу, в его коробке, расплзается мысль... и, больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз.

Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в сенях от всех своих кулчков и свертков и обменивались с ним и его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. “Ну, как работается?” – только и разобрал он. Это был тесть, кто сказал ему такое. Сергей усмехнулся: “Ничего...” Одна усмешка его была

лишена яда, он теперь не злился – и это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает, и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает, сколько его ни прерывай, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно: бил озноб, болела поясница – неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы – он забыл...

Разгрузившись, они прошли в дом.

Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай (“Как это ты умеешь так замечательно заваривать!” – восторгалась теща), оказывал внимание: долг гостеприимства – он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин: хозяйева дома приехали как гости, и он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал.

Чаепитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки, вот это печенье или вот эту конфетку, время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его и чтобы чай был горячий, и это было недолгой передышкой, привалом, а потом все начиналось с новой силой. Еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать.

Воскресенье уже ни на что похоже не было. Замаскированная война протекала на кухне, около детской кровати и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу – все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений – троянский конь с расположившейся внутри коммунальной квартирой, свара, запеченная в сладкое тесто. Завтрак еще сошел сравнительно легко, но только потому, что впереди был обед, куда стягивались все силы и резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение, где все вырывали его друг у друга, воркуя, то все покидали его, и он оказывался без присмотра. Именно так получилось, что никого не было рядом, когда он достал пудру жены, рассыпал ее, размазал и частично съел. И тогда мать и дочь, жена и теща, мать и бабушка – все они немножко поспорили, кто в этом виноват.

Наконец и обед ушел в прошлое, родственники стали собираться в город, и Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял.

Он сажал свое дитя в коляску и катал его по поселку. За воротами дома ему сразу показалось, что еще суббота и никакие родственники не приезжали и не приедут.

Он снова ощутил в себе то дрожание, которое жило в нем вчера на втором его этаже, мир, который возник в нем тогда, запульсировал, ожил, подхватил его и понес, он с радостью ощутил это плавное покачивание и, как всегда, с удивлением и восторгом подумал о том, что это у него не оборвалось, не кончилось, что такое еще может с ним быть. Он с нежностью подумал о жене, даче и родственниках и взглянул на сына. Тот сидел в коляске, толстый, уцепившись за поручни, и смотрел на мир. О чем он думает? Ведь он думает... “Есть три вещи, – рассуждал Сергей, – которых не знает никто, и все, что мы о них знаем, всего лишь наши или чужие воображения, столько раз утвердительно повторенные в форме уже суждений, что как бы действительные... Это – что и, главное, как думает ребенок, потому что он еще и говорить не может и не запомнит, как он думал; что думает человек в последний свой миг, когда в нем обрывается жизнь и он уже никому ничего не расскажет, и третье, и это на каждом нашем шагу, что думает человек, Икс-Имярек-Иванов, который другой, не ты...” Сергей катил коляску по неровным неловким улочкам и не столько сам смотрел и видел, сколько смотрел, как смотрит и видит его сын. При незнании того, что думало его дитя, совершенно определенная связь, казалось

ему, устанавливается между ними. Причем скорее в этой связи в подчинении находился он, а не сын, скорее он видел глазами сына. Со вчерашнего все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами, вроде и еще обострялось.

Он водил сына по поселку, как по огромному букварю... Они видели речку, он говорил сыну: “Видишь, речка?” – сын смотрел на речку, Сергей говорил: “Это речка”, и это была действительно речка. Он говорил сыну: “Вот коза”, и это была действительно коза. Он говорил сыну: вот дерево, вот мальчик, вот дом, – и все это было действительно так, как он это ему говорил. Сергей бы не мог сказать сейчас в словах, в чем дело и что с ним творится. Он ощущал нечто гениальное в этой назывной простоте вещей и слов, и ему казалось, он находится на каком-то высшем пороге, за которым-то все и начинается, и что на этом пороге новой логики, нового мышления, нового мира, наверно, что редко кто стоял. Он видел корову. “Вот корова, а вот ее сын – теленок”, это все было так, а дальше, за коровой, был болотный луг с такой ровной и молодой зеленью, что казался чем-то, чего нельзя потрогать, излучением, что ли. На лугу еще росли странненькие цветы в виде белых ваток, словно всплывших на зеленую, густую и воздушную одновременно, поверхность. Луг был пуст, и только где-то в центре его маленький мальчик, уменьшенный расстоянием, стоял нагнувшись, по-видимому, рвал эти белые цветки, а издали казалось, что и не рвал – гладил неощутимую, как небо, поверхность луга. Он стоял там, не боясь промочить ноги, босой, по-видимому; не боясь провалиться: там же, под ковром, трясина, – слишком легкий, по-видимому; а за лугом шла насыпь, и, продудев с забавной старательностью, то скрываясь за кустами, то вновь появляясь, спешил, чухал паровоз; он работал суетливо и старчески, маленький в отдалении, а за ним, до странности не совпадая с его торопливостью, тянулся бесконечный состав. Хоть и далеко, все было очень хорошо видно, как и вообще в последние ветреные дни, каждый вагон виден или платформа. Сергею хотелось пересчитать вагоны и лень было считать, и он не считал вагоны. Вот луг, вот мальчик, а вот поезд... И это все было действительно так – и луг, и мальчик, и поезд, еще корова с теленком, и он с сыном... все это на какое-то длящееся мгновение, совпав на одной прямой, образовало как бы ось, и в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал или находил. Симметрия, казалось бы, случайная, при которой сын тянул руку в направлении поезда, и корова жевала, стоя головой в противоположную сторону, чем шел поезд, и луг, и мальчик, гладивший луг, и поезд в конце концов, и все это как бы на одной оси, совпавшей с взглядом и ветром, объединенное куполом неба, как легатой, и замкнувшееся в нем, Сергее, и как будто бесконечное продолжение оси за видимые пределы – ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова... ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение: он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчишке на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, и в каждом, и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимающим и пронизывающим мир.

Он обнаружил себя вдруг стоящим около тысячу раз виданного луга, держащимся за коляску, и сын его лепетал что-то. Тогда как бы обратным движением киноленты, на которой отнят взрыв, когда назад летят все осколки, и дым и пламя текут назад, стущаются и уходят, как джинн в бутылку, и остается ровное пространство, словно ничего и не взрывалось, Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян. Он возвращался назад, катил перед собой свое подобие, свои глаза, свою радость; отворял калитку и шел по дорожке сада; поравнялся с клумбой (из всех клумб она была наиболее случайной, с тарелку величиной, притулившаяся у самой дорожки, потому что создана была только что и сверх всякой планировки). Его теща, мать жены, бабка сына создала ее сегодня по неясному вдохновению, приговаривая: “Внучкова клумба, внучкова клумба”. Это был сантимент, но сентиментальность в отношении детей перестала казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появилось

свое дитя, наоборот, была чем-то правильным и понятным. Они поравнялись с клумбой, и Сергей сказал: “Вот клумба, это твоя клумба, это твои цветочки...” Он приостановился, присел на корточки, нагнул какой-то желтый, в висюльках цветок и названия его не мог вспомнить. Нагнул, чтобы тот был поближе к сыну: сын сразу потянулся к цветку руками, ручками, “ручками”, пальчики-лепестки, своими лепестками, лепесток – к лепестку, потянулся и приостановился, не решаясь потрогать. Это желание и боязнь, эти руки умилили Сергея, и он сказал: “Вот цветочек, он такой же, как ты, это твой брат...” Он не был совсем уверен, правильно ли он назвал цветок “братом”, и пробормотал “это твоя сестра”... И тогда, разрушая и разрывая все, мелькнула мысль, что кто-нибудь за ним наблюдает, он сделал вид, что нагнулся, чтобы извлечь сына из коляски, и когда выпрямился с сыном на руках, то увидел на крыльце улыбающегося своего приятеля и тут вспомнил с недоумением, что сам же приглашал его приехать.

“А я не один”, – сказал приятель и показал рукой на веранду, где Сергей увидел свою жену. Он ничего не понял, но тут из-за жены выглянула девушка, в которой он признал давнишнюю свою знакомую, и она ему улыбнулась и помахала. Они с приятелем тоже прошли на веранду, Сергей передал сына жене, и, пока все возбужденно переговаривались, переживая встречу, он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятеля и приятельницу, но никогда не видел вместе, а тут они приехали вдвоем, и что бы это значило? И ему показалось, что это они не “просто встретились на платформе”. Сын заплакал от обилия незнакомцев и необычного шума, жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже, только накормит и уложит сына, присоединится к ним.

Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом – его кабинетом с паутиной; приятель – впрямую льстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она – так, как ему бы это больше всего понравилось: не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее и его загородном житье, и довольна теперь, что все так и оказалось и не разочаровало ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом, и собой.

Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствию оттенок заинтересованности, большей, чем любопытство, и эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут и как будто она должна была бы остаться, а приятель – уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату и вообще, кто с кем, а потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему: “Это твой брат? Какой славный...” – и погладила его по голове, он не спал и высчитывал, насколько он ее младше и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет, и приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в семь лет – чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви – вдруг от каких-нибудь двух людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия, и нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недостижимым счастьем казалась ему такая связь двух людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас, не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее.

Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что-то между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, над приятелем. Ощущение было недурным, немного тревожным, потому что и действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было, не забыл бы; придумал, пожалуй... Но нет, какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устанавливал что.

Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку. Длинные косые тени балясин устраивали свою геометрию на полу. Ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощутим: слышен и виден. А они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить о чем. Рассказывал приятель. Сергей и слушал и не слушал его. Появилась жена, которая наконец усыпила сына. Но это не прервало ощущений Сергея, а даже усилило их. Связь между ним и девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающейся, и нечто необычное казалось ему, слегка романтически, в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания, ничего специально направленного, взглядов вроде не было, поз, и чувство, близкое благодарности, возникало в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась словно помимо их желания, и они как будто даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему бывало мало когда, да и не бывало.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.